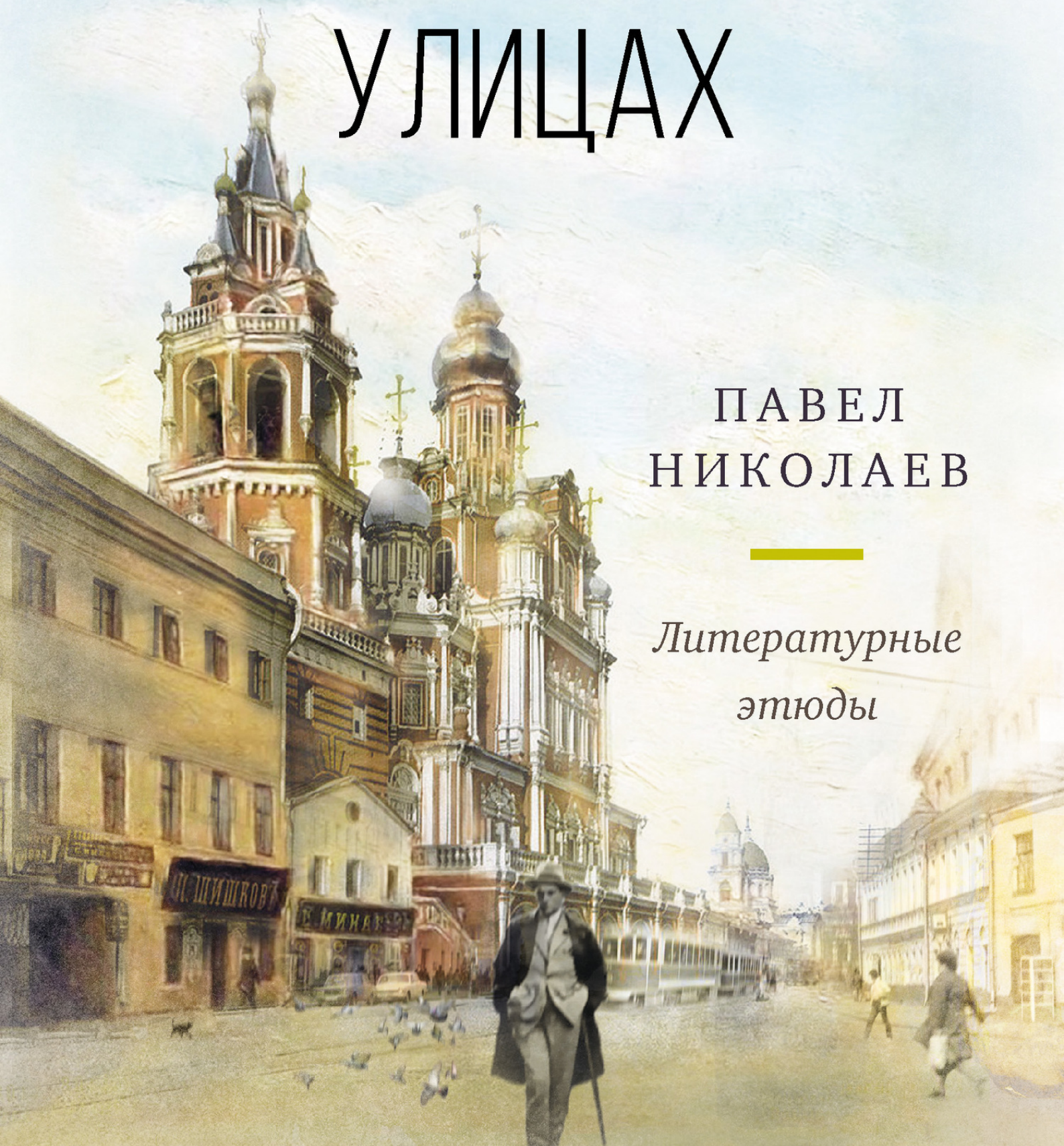


# ВСТРЕЧИ НА МОСКОВСКИХ УЛИЦАХ

ПАВЕЛ  
НИКОЛАЕВ

---

*Литературные  
этюды*



Павел Николаев

**Встречи на московских улицах**

«У Никитских ворот»

2019

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Николаев П. Ф.**

Встречи на московских улицах / П. Ф. Николаев — «У  
Никитских ворот», 2019

ISBN 978-5-00095-727-1

Это не путеводитель по городу с подробным перечислением его площадей, улиц и переулков, а сборник небольших рассказов о людях в нём, о случайности их встреч и разговоров, не унесённых в небытие ветром времени. Это – жизнь москвичей двух последних столетий в городе великой истории и потрясающей культуры, бегло запечатлённая в мемуарной литературе. Это те драгоценные фрагменты бытия, которые вызывают желание знать о них больше, пройти по пути исканий, страданий и радостей наших предшественников.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00095-727-1

© Николаев П. Ф., 2019  
© У Никитских ворот, 2019

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вокруг Кремля и Китай-города      | 7  |
| Замоскворечье                     | 42 |
| Московские кольца                 | 60 |
| Тверской бульвар                  | 60 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 86 |

**Павел Федорович Николаев**  
**Встречи на московских улицах**  
**(и не только)**

***Литературные этюды***

*Посвящается детской писательнице Ларисе Чугаевой*  
*Автор*



## Вокруг Кремля и Китай-города

**Ноги и уши для мыслей вслух.** Соавторы знаменитых «Двенадцати стульев» И. А. Ильф и Е. П. Петров не только вместе писали, но и гуляли вдвоём, впрочем, это тоже была работа. Юморист Виктор Ардов свидетельствует:

– Очень часто Ильф с Петровым ходили гулять, чтобы думать и разговаривать, медленно отмеривая шаги. Сперва любителем таких прогулок был только Ильф, но потом он приучил к этому «творческому моциону» и своего друга. Много раз я видел их идущими по Гоголевскому бульвару, будто бездельничающими, а на деле – занятыми самой серьёзной работой.

Обязательное пребывание два-три часа на свежем воздухе было для Ильфа жизненной необходимостью: этого требовали состояние его здоровья и малоподвижный образ жизни. «Если меня спросят, – писал Ардов, – что делал Ильф всю свою жизнь, я не задумываясь отвечу: читал. Он читал едва ли не всё то время, какое проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам – политические, экономические, исторические и, разумеется, беллетристические.

Он читал ежедневно десять-пятнадцать газет. Ему было интересно решительно всё, что происходило и происходит на земном шаре. Первое впечатление об Ильфе было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный».

Способствовало длительному пребыванию на воздухе и увлечение Ильи Арнольдовича фотографией, о чем Евгений Петров говорил с комической грустью:

– Было у меня на книжке восемьсот рублей и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора.

После ранней смерти Ильфа (1937) Петров выбрал себе напарника для прогулок в лице В. Е. Ардова. Жили они в одном доме – Лаврушинский переулок, 17. Евгений Петрович заходил к соседу по утрам и говорил с шутливой сварливостью:

– Нечего, нечего, ленивец! Надо гулять! Гулять надо! Почему вы не гуляете? Почему?

Ходили по Лаврушинскому переулку, Кадашёвской набережной, через мосты Малый и Большой Каменные на Кремлёвскую набережную. Это был их постоянный маршрут, а поэтому хорошо отложился в памяти Виктора Ефимовича:

– Москва-река, тогда уже принявшая в себя волжские воды и поэтому всегда полноводная, по-весеннему сверкала совсем близко к серому каменному парапету новой набережной. Селей на бульварчике, тянущемся вдоль Кремлёвской стены, ещё не сняли проволочных оттяжек, укреплённых при посадке, но видно было, что ёлочки хорошо принялись. По новому гудрону набережной неслись машины. Беленький катерок тарахтел на реке, вынырнув из-под Каменного моста. По только что отстроенным новым высоким мостам – Большому Каменному и Москворецкому – двигались трамваи и автобусы, в обе стороны сновали машины и шли бесчисленные пешеходы.

Евгений Петрович часто останавливался, любуясь пейзажем столицы, и говорил одобрительно:

– Москва принимает настоящий столичный вид. Вот такой пейзаж не в каждом европейском городе найдёшь. А уж американцы дорого дали бы, чтобы иметь, скажем, в Вашингтоне этаким небольшой Кремль... А? Что вы скажете?

Вопросы звучали риторически. Понимая, что Евгений Петрович рассуждает для себя, Ардов не рвался включаться в беседу, не тщился заменить Ильфа; а, по его выражению, «охотно предоставлял в распоряжение осиротевшего друга свои ноги и свои уши для его мыслей вслух».

**Под Кремлёвской стеной.** В 1956 году писатель В. В. Лавров, имя которого прогремело на рубеже столетий, был рядовым советским гражданином, а потому дачу на лето снял в подмосковной Салтыковке, месте, весьма неудачном в криминальном отношении. Хозяин дома, получивший оплату вперёд, сразу стал выживать своих постояльцев. Жилистый дед весь был исколот блатной татуировкой, поблекшей от времени. Сняв майку, дед демонстрировал Лаврову и его жене изображения, выполненные тюремным художником. Хвастал:

– У меня на заднице клёвая картина. Слева печь, справа истопник с лопатой. Когда иду, то истопник лопатой двигает прямо в печь. Показать?

– Спасибо, не беспокойтесь!

– А то могу, мне портки снять недолго. Я, братцы мои, в крытке и на зоне восемнадцать годков отволок, да-с!

– А что вы... натворили? – с опаской спросила Наташа, супруга Валентина Викторовича. Дед охотно ответил.

В 1933 году он с братом поехал погулять в Москву, в парк Горького. Зашли в ресторан, который находился тогда под парашютной вышкой. Там их внимание привлёк человек провинциального вида, который, расплачиваясь с официантом, вынул из кошелька целую пачку тридцатирублевых ассигнаций – «красненьких». Подмигнув друг другу, братья пошли за ним.

«Лапотник» шёл по набережной и время от времени приставал к одиноким женщинам. Братья подвалили к нему и, пообещав познакомить с интересными дамами, повели в Александровский сад.

– «Скулу», то бишь внутренний карман, – пояснил дед, – брательник ему втихаря вскрыл и вытащил лопатник. Фраер укнукал, хлебало раззявил, блажить начал, дескать, караул, грабят. А его, дурака, никто не грабит, просто бабки были нужны, в бильярдную хотелось сходить. Ну, фраер сам виноватый, посадили его на пику. Денег-то взяли неплохо, да прохаря, ну сапоги, брательник снял с фраера и надел, я свои тут же сбросил.

Разжившись деньгами, братишки пошли культурно отдыхать в бильярдную. Ушли недалеко, так как скоро их развлечение прервали милиционеры, приведенные по следам убийц «жучкой». И получил дед вместо отдыха двенадцать лет лагерей.

– А брат? – поинтересовалась Наташа.

– В деревянном бушлате сгнил. Когда нас в бильярдной вязали, брательник стал отстреливаться. Ну, двух посторонних клиентов ненароком уложил да одного мусора. Хороший брательник был! Его мусора свинцом нашипиговали – хоть в утильсырьё сдавай. А меня ничего, только побуцкали сапогами, почку отбили да два ребра сломали.

Милицейская «наука» впрок не пошла, но, как ни странно, второй раз деда судили уже как политического:

– Политический, ге-ге! Торчал по 58-8! Назубок помню: «Совершение террористических актов против представителей советской власти... Мера социальной защиты – расстрел или строгая изоляция от десяти до двадцати лет с конфискацией всего или части имущества».

Комментируя откровения старика, Лавров отметил, что при рассказе о убийстве «лапотника», оказавшегося сельским корреспондентом, он равнодушно махнул рукой, словно речь шла о пришлѐпнутой ненароком мухе. Но свою жизнь дед ценил и был благодарен судьбе за подаренные ему отсидки:

– Коли не торчал бы на киче, так, глядишь, на фронте подстрелили бы. А то ещё живу, небо копчу, водочку потребляю, ге-ге, бабам под юбку заглядываю.

И таких индивидов, заострённых на собственном «я», оказалось в годы Великой войны за Уральским хребтом с десятков полномасштабных армий!

**Чужая беда.** В 1938 году А. Т. Твардовский переехал в Москву и уже навсегда обосновался в столице. Поэту предоставили комнату в Большом Могильцевском переулке (дом 6,

не сохранился). Отсюда Александр Трифонович частенько ходил с дочерью Валентиной на прогулки по городу. Излюбленным местом посещения отца и дочери была Красная площадь. Визиты туда девочка воспринимала как подарок. Особенно запомнился один из них, несостоявшийся.

Был весенний солнечный день, канун 1 Мая. Из тихого переулочка они вышли на оживлённый Арбат. Пересекли площадь и по Воздвиженке спустились к Александровскому саду. Шли по его внешней стороне, то есть Манежной улицей. Здесь народу было уже значительно больше. Город бурлил, готовясь к празднику. Из репродукторов звучала музыка.

Вот уже и плавный поворот решётки сада. Через пять минут – Кремлевский проезд и заветная площадь. Но тут навстречу Твардовскому шагнул незнакомый мужчина и о чём-то взволнованно заговорил. Сбивчиво, запинаясь от волнения, он рассказывал поэту о своих мытарствах в Москве. Приехал в столицу искать правду. Поиски эти неоправданно затягивались. А надо на что-то жить, он не один (поодаль стояла женщина с двумя детьми).

Александр Трифонович слушал несколько растерянно. Затем недоумение на его лице сменилось выражением хмурым и горьким. Он что-то спрашивал у незнакомца, что-то объяснял ему. Затем достал бумажник и дал ему денег.

Взяв дочь за руку, Твардовский повернул к площади. Александр Трифонович тяжело молчал. Настроение праздничной приподнятости пропало. Не доходя Мавзолея, он резко повернул назад.

Глядя на сразу помрачневшего отца, дочь не решалась прервать его тяжёлые думы. Она не знала, чем был вызван этот резкий перепад в его настроении, но чувствовала, что мыслями он сейчас не с ней. Позднее она так объясняла случившееся:

– Кажется, я тогда впервые видела его встречу с чужой бедой, то, чему пришлось в дальнейшем много раз быть свидетелем. И никогда он не мог пройти мимо равнодушно, не приняв в себя чужое горе. Он должен был для собственного же покоя что-то немедленно предпринять, а если был бессилен – страдал.

**«Весёлый разговор».** После шестидесяти лет В. И. Качалов стал сдавать и в начале 1940 года с высокой температурой попал в Кремлёвскую больницу. Нина Николаевна, супруга артиста, конечно, сообщила об этом в Художественный театр. Там её тревогу приняли с преувеличенным беспокойством:

– Петенька, беда! Качалов отходит!

– Коленька, друг, трагедия-то какая – Василий Иванович помер!

И пошло-поехало. В МХАТ и на квартиру великого артиста стали поступать телеграммы соболезнования. Вскоре узнали о «кончине» Качалова и в Ленинграде. Один из его старых друзей, поэт А. Б. Мариенгоф, заспешил в столицу. «Приезжаю в Москву, – вспоминал он, – устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и иду к Качаловым.

В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это его молодит. Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:

– Умерший тебя приветствует.

В углу на банкете стоит большая именинная корзина, наполненная телеграммами.

– А нашей здесь нет, – с гордостью говорю я. – Не поймал на удочку.

– Сорвался карась.

Спрашиваю Качалова:

– Что же всё-таки было? Что за безвременная кончина?

– Была, Анатолий, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.

– Да ну тебя, Василий Иванович».

После завтрака Качалов обычно гулял. Так было и на этот раз. Супруга напутствовала его:

– Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!

– А носом можно?

– Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление лёгких схватишь. Ведь хуже ребёнка малого! Ещё начнёшь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует, а ты слушай. Клянись.

Пошли в Александровский сад. От Брюсовского (Брюсова) переулка это метров триста. Но шли долго: через каждые десять шагов Качалов раскланивался, благодарил и отвечал рукопожатием на приветствия людей, радовавшихся его «воскресению». Но вот и сад. Сели на скамью. Над головами закаркала иссиня-чёрная ворона:

– Прра!.. Прра!.. Прра!..

– Слышь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»

– Вот, Вася, и ещё один артистический рассказ набежал.

– Что?

– Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу...

Прозвонили кремлёвские куранты, и это настроило собеседников на серьёзную тему.

– Ох и подозрительная наука! – вздохнул Мариенгоф.

– Ты это про что, Анатолий?

– Да про историю. Она так же треплется, как товарищи-актёры.

– История?

– Да, история, «Историческая наука». Наивные легковёрные люди так её называют.

– Треплется, говоришь?

– Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.

– К примеру, синьор?

– Ну хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте – в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всём мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?

– Нет, не возражаю.

Возражать было трудно после недавнего закрытия Театра имени Мейерхольда, оголтелого охаивания критикой его основателя и руководителя, а затем и «таинственного» исчезновения Всеволода Эмильевича, фигуры в театральном искусстве знаковой. Словом, поговорили...

**Мысли вслух.** Весна 1947 года была ранней и очень тёплой, несущей надежды и радости, но не Б. Л. Пастернаку: его имя стало часто упоминаться на разных писательских собраниях. 22 марта в прессе появилась проработочная статья. Вскоре была уничтожена уже напечатанная книга его избранных стихов. К счастью, этим преследования ограничились. Через месяц, встретив в Лаврушинском переулке драматурга А. К. Гладкова, Борис Леонидович с облегчением сообщил:

– Решили всё-таки не дать мне умереть с голоду: прислали договор за перевод «Фауста».

В конце июня состоялась вторая встреча писателей. Александр Константинович сидел на скамейке в Александровском саду, когда увидел человека в странной одежде – в плаще песочного цвета из какого-то негнувшегося материала. День был жаркий, и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошёл ближе, Гладков узнал Бориса Леонидовича и окликнул его. Пастернак подошёл и сел рядом.

Тишина и безлюдье, умиротворяющая природа, душевные волнения последних месяцев, молодой собеседник, с жадностью ловящий каждое твоё слово, располагали к откровенности. Борис Леонидович говорил больше двух часов. Гладков впитывал в себя каждое его слово, а

вечером содержание откровений большого поэта предал дневнику. Приводим часть этих записей.

«Вдохновение – это пришедшее в горячке работы главенство настроения художника над ним самим. Это состояние, когда выражение обгоняет мысль, когда выполнение опережает задачу, ответ рождается раньше, чем задаётся вопрос.

В природе словесной речи самой создавать красоту, которую нельзя заранее предусмотреть и задумать. Написав в порыве вдохновения что-то, потом удивляешься, хотя сразу понимаешь, что это тоже твоё; твоё, но оставившее позади самого тебя...

История – это ответ жизни на вызов смерти, это преодоление смерти с помощью памяти и времени. Естественно, что история – это нечто созданное христианской эрой человечества. До нее были только мифы, которые антиисторичны по своей сути. Прикрепленность исторического события ко времени – первый признак этой эры. Миф не прикреплен ко времени...

А можно ещё назвать историю второй вселенной, воздвигаемой людьми по инстинкту сопротивления смерти и небытию. Явление времени и памяти, история – это и есть подлинное бессмертие, поэтическим образом которого является христианская идея о личном человеческом бессмертии...

Меня совсем не волнуют эти иногда вдруг вспыхивающие разговоры об антисемитизме, наверно, потому, что я считаю самым большим благом для еврейства полную ассимиляцию. Расизм – выдуманная теория, нужная для неблагоприятной практики. Попробуйте с точки зрения расизма или крайнего национализма понять метиса Пушкина...

Всего дороже мне жизнь, тонущая в жизни окружающих, похожая на них. Я ни разу не испытывал счастья без страстной потребности с кем-то его разделить. И чем больше было это чувство счастья, тем с большим числом людей мне хотелось делить его. Из этой иногда нестерпимой потребности начинается искусство...

Разучиваться в искусстве так же необходимо, как и учиться. Иначе оно начинает хозяйничать над тобой. Может быть, то, что я называю „разучиваться“, явление или процесс, ещё более трудный, чем постижение каких-то умений. Если я сейчас пишу плохо со своей новой точки зрения, то я знаю: это потому, что я ещё не слишком хорошо разучился тому, что я прежде умел...

Когда делаешь большую работу и весь захвачен ею, она продолжает расти и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь ввериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже непросто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному иногда вместо того, чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения, тратить силы на ненужные и лишние движения...

Мы не умеем учиться страшному опыту у биографий наших любимых художников. Представим себе только, что Пушкин сумел уговорить Наталью Николаевну уехать с ним в Михайловское и прожил там годы, скрипя гусиными перьями и подбрасывая поленья в трещащие печки. Какое счастье это было бы и для России, для нас! Нас не учат ничьи уроки, и мы всё тянемся к призрачной и гибельной суете. А между тем только в рядовой жизни можно

найти подлинное счастье и атмосферу для работы. Помните наш Чистополь? Я всегда вспоминаю его с удовольствием...

Каждый человек по-своему Фауст, он должен сам пройти через всё, всё испытать...

Движение вперёд в науке происходит из чувства противоречия, которое я называю законом отталкивания, из потребности опровержения ложных взглядов и накопившихся ошибок. Такое же движение вперёд в искусстве чаще всего делается из подражания, попытки идти вслед, из потребности поклонения тому, что тебя восхитило...

Есть что-то ложное и фальшивое в позе писателя – учителя жизни. Сравните застенчивую честность Пушкина и Чехова, их простоту и детскость, их скромное трудолюбие с хлопотами Гоголя, Достоевского и Толстого – о задачах человечества и собственной миссии. Я в этом вижу претензию, которая мешает мне наслаждаться их творениями. Высшее в судьбе художника – когда его личная жизнь, жизнь для себя, а не напоказ, не для других, становится благородным примером без нарочитости и торжественных приготовлений. Меня в толстовстве всегда смущала его демонстративная и показная сторона...

Подражательность прописных чувств – вовсе не синоним их общечеловечности...

Иногда я думаю, что искусство, может быть, возникает из потребности человека в компенсации. То есть оно должно внести в жизнь то, чего в ней нет по разным причинам, как организму вдруг не хватает витаминов. Только естественно, что XIX век – Наполеона, Байрона, Раскольникова, век расцвета индивидуальных судеб, век биографий, карьер – инстинктивно тосковал по коллективной душе, по мирской правде, по массовым движениям, от мужицкой сходки, идеализированной славянофилами, и фаланстера раннего коммунизма до унанизма французской поэзии и идеологии интернационалов. Век же XX – век массовых исторических судорог, век коллективизма всех оттенков, век солдатчины, лагерей, больших городов – невольно, но закономерно тянется к индивидуалистическому искусству, к крайнему субъективизму – та же компенсация...

Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье; клясться в любви тому, что не любишь; вести себя противоположно нашему собственному инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт: лжём сами себе; как рабы, идеализируем свою неволю...

Я вернулся к работе над романом<sup>1</sup>, когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась как очистительная буря, как веяние ветра в запертом помещении. Её беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но всё же пока победила инерция прошлого. Роман для меня – необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Я помню, вы тоже были отъявленным оптимистом во время войны, и я даже с вами спорил, хотя мне хотелось иногда верить вам...

Большие традиции великого русского романа, русской поэзии и драмы – это выражение живых черт души русского человека, как они слагались

---

<sup>1</sup> «Доктор Живаго».

в истории последнего века. Сопротивляться им – это значит обречь себя на натяжки, искусственность, неорганичность. „Война и мир“, „Скучная история“ и „Идиот“ – такие же признаки России, как берёзки и наши тихие реки. Бесплезно разводигь в Переделкине пальмы, этого даже Мичурин не придумал бы. Наша литература – это сконцентрированный душевный опыт народа, и пренебречь им – значит начинать с нуля...

Когда живёшь на каком-то большом душевном настрое, то всё получается хорошо, а хорошее удваивается работой, которая одна сама по себе, без этого настроения, почти бесполезна. Я, как говорят, трудолюбив, но одно лишь трудолюбие не может быть спасением ни от пустоты, ни от посредственности, и той, худшей из всех посредственностей, которая замаскирована в артистическую позу...

Много перечитывал Пушкина. Его письма прелесть. Какое отсутствие позы, какое умение быть самим собой. Это просто поразительно при полной ясности для себя своего масштаба и своей оценки им сделанного, как в „Памятнике“...

Понятие трагедии основано на свободе человеческой воли. Если у человека есть возможность выбора решения, поступка или пути среди других предложенных ему жизнью поступков или путей, то у него появляется чувство моральной или прочей ответственности за свой выбор перед историей или истиной. Когда нет права сравнения решений, нет и трагедии. Выбор своего пути – это современная судьба, без какого бы то ни было фаталистического оттенка...

Как это ни странно, но фатализм или политический мистицизм стал свойствен именно тем, кто называл себя материалистами...»



*Б. Л. Пастернак*

...В приведённых записях А. К. Гладкова – в основном рассуждения Пастернака о литературе, творчестве и роли писателя в общественной жизни, но есть и выпады политического плана. То есть проходила она на полной откровенности, хотя это было далеко небезопасно в условиях всякого рода кампаний (шельмование М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой, борьба с «безродными» космополитами и прочее).

Внутреннее ощущение жизни противоречило её внешним проявлениям, тому, что поэт видел вокруг себя, и он не хотел лгать, не хотел прославлять общественный строй, при котором жил. Отсюда уход в себя и интенсивный труд над романом «Доктор Живаго», который стал смыслом последних лет жизни писателя, не принятого современниками.

**К случайности готов.** Вскоре после расстрела здания парламента П. С. Грачёва назначили министром обороны России. В первую же годовщину Победы Павел Сергеевич пригласил на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата В. Н. Доценко, с которым довольно близко сошёлся при съёмках фильма о войне в Афганистане. Виктор Николаевич к этому времени выпустил уже две книги из серии о Савелии Говоркове (Бешеном), которые принесли ему широкую известность. Но поскольку славы, как и денег, никогда не бывает много, писатель прихватил свои произведения на торжества 9 Мая. При этом был так предусмотрителен, что на большинстве книг заранее сделал дарственные надписи. Труд его, как говорится, полностью оправдался. От удивления от не слишком уместной «презентации» Ельцин промямлил:

– Виктор, когда ты только успеваешь, понимаешь, всё это... И кино снимать, понимаешь, и книги писать...

Это был успех, на который Доценко не рассчитывал. Конечно, в глубине души он жаждал благосклонности сильных мира сего, но не слишком обольщался на этот счет. Писатель буквально обомлел и только повторял бессвязно и торопливо три слова: «Спасибо, Борис Николаевич!» Даже спустя пять лет после этой встречи Виктор Николаевич находился под её впечатлением:

– Приятно было и то, что Борис Николаевич обратился ко мне на «ты». Читая всяческие откровения ближайшего его окружения, я обратил внимание на то, что все они говорили: «Кто всем президент обращается только на „вы“...» Значит, он как бы меня выделил.

Но вернемся в 1994 год. Одарив президента, Доценко начал раздавать свои «домашние заготовки» направо и налево. Представители высших властей улыбались и благодарили расторопного автора, делая вид, что не замечают несоответствия ситуации месту и времени. Грачёв, правда, вежливо намекнул своему «приятелю» на одиозность его инициативы, посоветовав не мыть руки, а показывать их за деньги. Но писатель находился в таком эмоциональном возбуждении, что отнёс намек к шутке. Главным, что отложилось в его сознании, стал факт «общения» чуть ли не со всем кабинетом министров Российской Федерации.

– 9 Мая я запомнил на всю жизнь, – вспоминал он позднее. – Вероятно, я был первым, если не единственным писателем России, который удостоился чести вручить свои книги с автографом не только самому президенту, а почти всему кабинету министров во главе с В. С. Черномырдиным, а также мэру Москвы Ю. М. Лужкову, но и обменяться с каждым рукопожатием. Жалею до сих пор, что рядом не было человека, который запечатлел бы эти исторические минуты.

Согласимся: случай действительно уникальный, так и напрашивается в Книгу рекордов Гиннесса. Но вот с честью Виктор Николаевич что-то напутал: сомнительно счастье лобызать руки людей, поставивших страну на грань вымирания, низведших великую державу на уровень криминально-колониального придатка Запада. Символично, что упомянутая выше «честь» была оказана писателю на погосте.

**Хлеб и поэзия.** После длительного путешествия в июле 1920 года Н. Заболоцкий и М. Касьянов (приятель Николая по реальному училищу в Уржуме) добрались до Москвы. Целью их нелёгких странствий был историко-филологический факультет университета. Там их обещали принять, но не могли кормить, а есть семнадцатилетним парням очень хотелось.

– Не помню теперь, – говорил позднее Касьянов, – у кого возникла мысль о поступлении на медицинский факультет, с тем чтобы по вечерам заниматься литературой, а может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете и одновременно на медицинском.

Студенты-медики считались военнообязанными и потому получали паёк, который был по тому голодному времени просто сказочным – полтора больших солдатских каравай хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селедка или вобла. Всё это на месяц. Жили от пайка до пайка.

– После получения всех этих благ, – вспоминал Касьянов, – мы сейчас же, незамедлительно, шли в чайную, резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравай, фунтов пять, не меньше, хлеба.

Паёк улетучивался за полторы-две недели. Дальше жили ожиданием его. Это отразилось в «гимне», сочинённом Заболоцким вскоре после начала занятий в университете:

Утром из чайной  
Рано, чуть свет,

Зайдёшь не случайно  
В университет.  
В аудитории сонной  
Чувства не лгут:  
На Малой Бронной  
Хлеб выдают.  
Сбегать не грех.  
Очередь там небольшая  
Шестьсот человек.  
Улица Остоженка,  
Пречистенский бульвар,  
Все свои галоши  
О вас изорвал.

Осень 1920 года была в Москве сухой и солнечной, но начинающий поэт расхаживал по городу в сапогах с надетыми на них галошами, так как подмётки отваливались.

Планы в отношении учёбы на двух факультетах осуществить не удалось – всё дневное время поглощали занятия медициной. Но по вечерам случалось попасть в театр (чаще всего бесплатно). Бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской. Но особенно любили ходить в Политехнический музей на диспуты и литературные вечера. Слушали здесь выступления пролетарских поэтов А. Гастева, М. Герасимова, В. Кириллова. Особенно запомнился В. Маяковский.

В один из вечеров поздней осени Владимир Владимирович читал «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». Восторженная публика окружила поэта и долго не выпускала его. Маяковский пошутил:

– Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник.

Слушали приятели и поэму «150 000 000» в декламации автора. По этому поводу Касьянов говорил:

– Николай не очень любил Маяковского, но не мог противиться его темпераменту, проявляющемуся во время чтения и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвращался к обычному сдержанному отношению к Маяковскому.

Однажды, спускаясь по лестнице после окончания вечера, Владимир Владимирович нечаянно наступил Касьянову на ногу. Заболоцкий долго подшучивал над приятелем по этому поводу, советуя сдать отдаленную стопу в музей. При встречах с сокурсниками Николай Алексеевич хватал ногу Касьянова, поднимал её для всеобщего обозрения и возглашал:

– Смотрите, вот эта нога!

Шутили, радовались, а жизнь неумолимо предъявляла свои права. В январе 1921 года у студентов-медиков сняли их особый паёк. Как и все москвичи, они стали получать хлеб по полфунта, потом по четвертушке, а то и по осьмушке. Голодать на ненужном факультете не имело смысла, и вскоре Заболоцкий оставил Москву.

**Цилиндр.** С. Есенин и А. Мариенгоф стояли у гостиницы «Метрополь» и ели яблоки. Мимо проезжал художник Дид Ладос. Друзья заинтересовались, куда это он направляется с кучей чемоданов. Оказалось, в Петербург. Бросились во весь дух за ним, догнали клячонку и на ходу вскочили на извозничьи дроги. Дид похвастался:

– В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.

– С кем? – удивились друзья.

– С комиссаром. Страшнейший. Пистолетами и кинжалами увешан. Башка что обритая свёкла.

- Дид, возьми нас с собой.
- Без шапок-то? – усомнился художник.
- А на кой чёрт!
- Деньжонки-то есть?
- Не в Америку едем.

Вот и Николаевский вокзал. На платформе около отдельного вагона стоял комиссар. Глаза круглые и холодные, голова тоже круглая и без единого волоска. Мариенгоф шепнул Диду:

- Эх, не возьмёт нас «свёкла».

Но Есенин уже вёл с комиссаром разговор о преимуществах кольта, восхищался сталью кавказской пашки и малиновым звоном шпор. Проняло! Комиссар взял приятных молодых людей в свой вагон, пил с ними кавказское вино, и спали они на красном бархате.

В Петербурге друзья бегали по разным редакциям. В издательстве «Всемирная литература» Есенин познакомил приятеля с А. Блоком, который поразил Мариенгофа своей обыкновенностью.

На второй день пребывания друзей в Петербурге пошёл дождь, и тут они вспомнили вопрос Дида о шапках. Классический пробор Мариенгофа блестел как крышка рояля. Золотая голова Есенина побурела, и его кудри свисали жалкими ключьями. Побежали по магазинам, но без ордеров на одежду ничего не продавали. Наконец в десятом по счёту краснощёкий немец предложил цилиндры. Выбирать было не из чего. Купили и не пожалели:

- Через пять минут на Невском петербуржане вылупляли глаза, «ирисники»<sup>2</sup> гоготали вслед, а поражённый милиционер потребовал документы.

И в Москве цилиндры имажинистов имели успех. Сохранились их фотографии в этих необычных для суровых лет Гражданской войны головных уборах.

...Для выдающегося дирижёра Н. С. Голованова цилиндр Есенина стал символом его судьбы. Николай Семёнович преклонялся перед личностью поэта, называл его «златокудрым ангелом» и сетовал, что благоуханный и тонкий лирик замучил и осквернил своё «целомудренное дарование – простое и душистое, как лесной ландыш, в омуте грязи и свинства городской, пьяной, угарной жизни». Несовместимость великого печальника земли Русской с его временем Голованов образно называл трагедией цилиндра и лаптя.

**«Метрополь» и далее.** В начале июля 1918 года в Москве проходил 1-й съезд Советов. На нём левые эсеры развернули ожесточённую борьбу против Ленина и большевиков. Они требовали прекращения борьбы с кулаками и отказа от посылки продовольственных отрядов в деревню. Получив отпор со стороны большинства съезда, они организовали мятеж, во время которого был убит германский посол Мирбах. Покушение на него совершил Я. Г. Блюмкин. Современник вспоминал:

- Убийцу немедленно посадили в ВЧК. Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счёт жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь.

Сохранением собственной шкуры Блюмкин очень поспособствовал большевикам в разгроме партии левых эсеров. «Следует заметить, – писал Д. А. Волкогонов, – что в истории левоэсеровского мятежа остаётся много неясных моментов. По чьему прямому заданию стрелял Блюмкин? Было ли на этот счёт решение ЦК партии левых эсеров? Почему не было проведено тщательное следствие? Одно ясно: события июля 1918 года стали хорошим предлогом, чтобы расправиться с партией левых эсеров. В телеграмме Ленина Сталину в Царицын содержался приказ начать массовый террор против левых эсеров, что и было сделано».

---

<sup>2</sup> «Ирисники» – продавцы в розницу, лотошники.

По описанию А. Мариенгофа, Блюмкин был большой, жирномордый, чёрный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Обожал целоваться («Этими-то мокрыми губами!» – возмущался поэт).

После перехода на сторону большевиков Блюмкин возглавлял охрану народного комиссара республики по военным и морским делам. Поэтому днём находился с Кремле, а вечера проводил в «Кафе поэтов». Как-то молодой Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои латанные полуботинки.

«Хам», – заорал Блюмкин. Мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, он направил его чёрное дуло на артиста: «Молись, хам, если веруешь!»

Ильинский побелел как полотно. К счастью, рядом оказался Есенин:

– Ты что, опупел, Яшка?

– Бол-ван!

Есенин повис на руке Блюмкина, а тот орал:

– При социалистической революции хамов надо убивать. Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет.

Есенин отобрал у фанатика потрясений оружие:

– Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.

– Отдай, Серёжа, отдай. Я без револьвера как без сердца.

Блюмкин был лириком, любил стихи, любил славу (и свою, и чужую), но храбрецом не был. ЦК левых эсеров вынес постановление: «Казнить предателя». На этом поприще у эсеров был немалый опыт. Блюмкин, уже однажды смотревший в лицо смерти, трусил. Перед закрытием кафе он обычно просил Мариенгофа и Есенина проводить его до пенат. Расчёт был прост: не будут же левозэсеровские террористы ради «гносного предателя» (как именовали они бывшего однопартийца) убивать сопровождающих его молодых поэтов. Первый из них вспоминал:

– Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в «Метрополе», называвшемся 2-м Домом Советов. Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева обычно шёл я, а справа – Есенин, посередке – Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки.

Как-то Блюмкин предложил своим «охранникам»:

– Ребята, хотите побеседовать с Львом Давидовичем? Я могу устроить встречу.

– Хотим!

– Очень!

– Устраивай!

Через неделю Блюмкин пришёл в Богословский переулок, где проживали поэты:

– Ребята, сегодня едем ко Льву Давидовичу. Будьте готовы.

Мариенгоф был болен, но сразу оживился и, разбинтовывая шею, попросил:

– Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.

– И не подумаю давать. Лежи, Анатолий, я не могу позволить тебе заразить Троцкого.

– Яшенька, милый...

– Дурак, это контрреволюция!

– Контрреволюция? – испуганно пролепетал Мариенгоф.

Пришлось охраннику наркома ограничиться одним Есениным. Для начала беседы Сергей Александрович передал Троцкому только что вышедший номер журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном»<sup>3</sup>. Поблагодарив за журнал, нарком выдвинул ящик стола и достал тот же номер, чем сразил и покориł Есенина.

---

<sup>3</sup> «В прекрасном» – имеется в виду искусство.

В журнале была напечатана «Поэма без шляпы» Мариенгофа, и в ней была следующая строфа:

Не помяни нас лихом, революция.  
Тебя встречали мы какой умели песней.  
Тебя любили кровью —  
Той, что течёт от дедов и отцов.  
С поэтом снимая траурные шляпы, —  
Провожаем.

– Передайте своему другу Мариенгофу, – заметил Троцкий, – что он слишком рано прощается с революцией. Она ещё не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция – это движение. А движение – это жизнь.

...Троцкий был единственным из советского руководства, кто после трагической кончины Сергея Александровича сказал о нём доброе слово:

– Он ушёл из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, – не хлопнув дверью, а тихо прикрыв её рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неограждённой, незащищённой души.

Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит, не случайную, дань, – Есенин всегда, видимо, чувствовал себя не от мира сего. Это не в похвалу, ибо по причине именно этой неотмирности мы лишились Есенина. Но и не в укор: мыслимо ли бросать укор вдогонку лиричному поэту, которого мы не сумели сохранить для себя! Поэт погиб потому, что был не сроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его<sup>4</sup>.

**Латышские стрелки.** В конце XVIII столетия на Большой Сухаревской площади возник рынок, на котором торговали съестными припасами, картинами, скульптурой и изделиями прикладного искусства. К концу следующего века рынок стал центром торговли букинистическими изданиями. В годы Гражданской войны и НЭПа он превратился в барахолку, которую описал В. А. Каверин в трилогии «Освещённые окна»:

«Сухаревка раскинулась так широко, что сама Сухаревская башня, с её часами и строгим остроконечным фасадом, казалась сиротливо пристроенной к громадной толпе, хлопающей руками, чтобы согреться, и отбивающей дробь ногами. Все говорили разом, пели – впрочем, пели что-то божественное только слепцы, одетые в живописное тряпье.

Здесь продавалось всё: корсеты, царские медали, шандалы, бритвы, манекены, иконы, заспиртованные уродцы в стеклянных банках, четки, ложечки для святых даров. Прилично одетый мужчина с большими усами предлагал какие-то раскрашенные щепочки, уверяя, что это „целебные останки иконы Николая Чудотворца, уничтоженной большевиками“. Прямо на снегу стояли шкатулки из слоновой кости, веера, книги, статуэтки, часы с фигурками, дамы с интеллигентными лицами. Другие, с неинтеллигентными, торговали горячими чёрными лепёшками на сале, от которых шёл круживший голову, соблазнительный чад».

---

<sup>4</sup> Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 20.01.1926.

Было начало 1919 года, второго года Гражданской войны, времени бедственного и жестокого. Москва голодала. Катаев писал: «На днях я видел, как чуть не убили прохожего, бросившего корку хлеба собаке».

За хлеб действительно убивали, хотя по существу его трудно было назвать хлебом. «Тяжёлый вязкий хлеб, – вспоминал Вениамин Александрович, – был даже и не похож на хлеб. Не знаю, что подмешивали в муку, но, высыхая, он разламывался как штукатурка.

Иногда мы покупали на Сухаревке дуранду – плоские, твёрдые, как камень, лепёшки из отжатого льняного семени или конопля. Мама разбивала их молотком, размачивала, перемалывала, прибавляя горстку муки, и готовила с помощью ещё сохранившихся специй полный обед – суп с клёцками и оладьи. К сожалению, это случалось редко».

В 1925 году в Сухаревой башне был открыт Московский коммунальный музей (впоследствии – Музей истории города Москвы). В связи с этим рынок перевели в один из дворов на Садово-Сухаревской улице (близ кинотеатра «Форум»), а через пять лет он вообще был закрыт, просуществовав около 140 лет.

**Милиция разбежалась.** Сухаревка жила бурной, но весьма неприглядной жизнью. По воскресным и праздничным дням рынок представлял собой бушующее человеческое море, кишевшее мелкими и крупными хищниками: спекулянтами, шулерами, проститутками, карманниками, налётчиками. На Сухаревке продавали всё, что только можно было продать и купить, причём процветала в основном меновая торговля: шубу из соболей меняли на полмешка пшена, серебряные ложки – на сало, золочёные подсвечники – на керосин. Деньги утратили свою ценность.

На Сухаревке пьянствовали и дрались, играли до потери рассудка в карты, заключали самые невероятные сделки, обирали до нитки простаков, спекулировали, воровали и грабили. Молодая советская власть решительно очищала рынок от этой нечисти, что на первых порах не всегда получалось. Характерна в этом плане облава, проведённая в воскресенье, 21 апреля 1918 года.

Утром этого дня из Кремля выехало несколько грузовиков. К рынку они подъехали с разных сторон – с Садовых, Сретенки и 1-й Мещанской. Латышские стрелки рассыпались цепью и начали сжимать кольцо. Было задержано более 300 подозрительных личностей. Их рассадили по машинам, латыши с винтовками наперевес разместились по бортам.

Задержанных везли для разбирательства в Кремлёвские казармы. Улицы были пустынные, грузовики мчались на большой скорости. И вдруг, когда первый грузовик приближался к «Метрополю», неподалёку раздался винтовочный выстрел. Постовые милиционеры, стоявшие у подъезда гостиницы, решили, что стреляли с грузовика, и подняли тревогу. Отряд, охранявший «Метрополь», высыпал из здания на площадь, выкатил пулемёты и залёг.

В это время к гостинице приблизилась вторая машина с задержанными и латышами. Милиционеры бросились наперерез ей. Шофёр решил, что это сообщники арестованных, и прибавил газу. Вслед машине раздалась пулемётная очередь. Был убит один латыш, пострадали несколько человек, находившихся в кузове, и несколько прохожих.

В Кремле латыши взбунтовались. Комендант кремля П. Д. Мальков вспоминал: «Вклинившись в толпу, я схватил первого попавшегося командира роты за рукав:

– В чём дело?

– Полк выступает.

– Как выступает, куда?

Из толпы раздался голос:

– Идём на „Метрополь“. Громить милицию. Может, это и не милиция, а бандиты, переодетые в милиционеров.

Я подоспел вовремя. Ещё несколько минут – и было бы поздно. Визвавшись на ближайший грузовик, я крикнул что было мочи:

– Митинг! Митинг давай! Нельзя выступать без митинга!

К моему голосу стали прислушиваться. Кое-кто поддержал:

– Верно, надо митинг. Потом выступим».

Провели митинг, на котором выбрали делегацию для поездки в Моссовет, чтобы там разобраться в случившемся и потребовать сурово наказать виновников бессмысленной стрельбы в центре города. В Моссовете делегаты застали нескольких членов президиума. С одним из них отправились в отдел милиции Городского района: «Едем. На улице ни одного милиционера, как в воду канули. Нет милиционеров и возле „Метрополя“, и на Петровке, а в отделе двери настежь, и тоже ни души. Даже часового нет. Оказывается, как только распространилась весть о столкновении с латышами, милиционеры Городского района разбежались кто куда. Пришлось расследование на время отложить».

**Серёжка.** Есенин и его сестра Катя как-то проходили мимо Иверских ворот и увидели на руках молодого вихрастого парня рыжего щенка, который дрожал всем своим маленьким телом. Поворачивая щенка в разные стороны, парень предлагал свой «товар»:

– Не надо ли собаку? Купите породистую собачку.

– С каких это пор дворняжки стали считаться породистыми? – бросил мимоходом рабочий.

– Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, не говорил бы чего не следует, – возмутился парень и обратился к Есенину: – Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятёрку. Деньги нужны и стоять мне некогда.

Есенин подошёл к продавцу и погладил щенка. Почувствовав нежное прикосновение тёплой руки, щенок облизнулся, заскулил и ткнулся мордочкой в рукав пальто поэта, который сразу расцвёл в озорной улыбке и предложил сестре:

– Давай возьмём щенка.

– А где же мы его будем держать? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.

– Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.

– А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? – робко напомнила Катя о возможностях их жилищных условий.

По лицу Сергея Александровича пробежала тень отчаяния и грусти – никаких комнат у него не было. Жил великий поэт в это время в Брюсовском переулке, 2/14, у Г. А. Бениславской. В квартире № 27 Галина Артуровна занимала комнату в семнадцать квадратных метров. Её постоянными обитателями были сама хозяйка, Есенин и его сестры – Катя и Шура. Ими, как правило, «население апартаментов» не ограничивалось.

– Ночёвки у нас, – говорила Бениславская, – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и ещё кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатухе – кто-либо ещё из спутников Сергея Александровича или Кати.

Холодная комнатуха принадлежала не Галине Артуровне, а другой обитательнице квартиры, которая временно отсутствовала. С её возвращением ситуация ещё более осложнилась.

– Позже, – уточняла Бениславская, – картина несколько изменилась: в одной комнате – Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Балдовкин, рядом в комнатухе, в которой к этому времени жила её хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу у окна – её сестра, всё пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причём крайняя из нас спала наполовину под кроватью.

Словом, задуматься было о чём, но Есенин легко отгонял от себя мрачные мысли, а потому на предупреждение сестры заявил, улыбувшись:

– Ну, если погонят, то мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмём.

Уплатив пять рублей, Сергей Александрович взял из рук парня дрожавшего щенка, растегнул шубу и, прижав крохотульку к груди, запахнулся. Так и нёс своё приобретение до самого дома. Войдя в квартиру, осторожно опустил щенка на пол и на удивлённый возглас Галины Артуровны, озорно улыбаясь, рассказывал:

– Идём мимо Иверских. Видим: хороший щенок и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а это – настоящая, породистая. Смотрите, какие у неё уши.

Есенин волновался, но к появлению нового поселенца все отнеслись почти одобрительно. Сергей Александрович дал ему своё имя, и все звали щенка Серёжкой. Прошло несколько дней, и щенок стал проявлять беспокойство: скулил и лапами теребил свои длинные отвислые уши. И вскоре выяснилось, что уши у него были пришиты. Обращение «породистого» щенка в дворняжку веселило поэта несколько дней – хохотал до слёз.

Серёжка радовал хозяина, отвлекал от тяжёлой повседневности. У Есенина всегда было много друзей – к сожалению, много и так называемых. Постоянные разочарования в людях рождали у поэта недоверие к ним, желание отстраниться, отгородиться от них. Тема некой отверженности от людского сонма наглядно проявляется в стихотворении «Я обманывать себя не стану»:

Я московский озорной гуляка,  
По всему тверскому околотку  
В переулках каждая собака  
Знает мою лёгкую походку

Каждая задрипанная лошадь  
Головой кивает мне навстречу  
Для зверей приятель я хороший,  
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин.  
В глупой страсти сердце жить не в силе.  
В нём удобней, грусть свою уменьшив,  
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею.  
Я иному покорился царству.  
Каждому здесь кобелю на шею  
Я готов отдать мой лучший галстук. ...

Серёжка был бестолков, но удивительно игрив. Для него не существовало чужих, к каждому он ластился, с каждым заигрывал. К лету Серёжка вырос и стал большим псом. Держать его в перенаселённой квартире было невозможно, и Бениславская отправила его к знакомым в Тверскую губернию. Там Серёжка, играя с коровой, откусил ей хвост, за что был выгнан со двора.

Есенин к этому времени умер, и, храня память о нём, близкие поэту люди не решились бросить его любимца на произвол судьбы. Мать и отец Сергея Александровича взяли пса в Константиново, но «перекрестили» его – назвали Дружком. Хлопот от него был полон рот.

На цепи пёс выл дни и ночи, отказывался от еды. Без привязи гонялся за овцами, курами и прочей живностью, вызывая всех на игру. Однажды по селу проходил охотник, и Дружок захотел поиграть с ним. Кончилось это печально: как и его почивший хозяин, Серёжка принял насильственную смерть.

**«Песнь песней».** В тридцатые годы И. О. Дунаевский жил в Ленинграде, но очень часто бывал в столице. Останавливался всегда в гостинице «Москва». Номер, который предоставлялся широко известному композитору, бывал обычно трёхкомнатным и производил впечатление квартиры героя-ударника. В гостиной стоял большой рояль. За ним, как бы в нише, находилась миниатюрная эстрада, обнесённая перильцами. Интерьер помещения дополнял огромный диван. Словом, не гостиная, а театр в миниатюре.

Для города, подавляющая часть населения которого жила в коммуналках, это была недосыгаемая роскошь, но композитор уже сжился с излишествами правительственного отеля и не замечал их. Мыслями он всё реже и реже возвращался к бедной полуголодной молодости. И в тот день, выйдя из гостиницы, меньше всего думал о прошлом.

Только что прошёл короткий весенний дождь. В лужицах асфальта ярко играли солнечные блики. Воздух был насыщен озоном. Исаак Осипович вздохнул полной грудью и вдруг замер, задержав воздух в лёгких: на него внимательно смотрела полная, очень полная женщина. Вернее, даже старуха, плохо, безвкусно одетая. Вид был отталкивающий.

– Исаак? – неуверенно и как-то просяще произнесла она.

Дунаевский, то ли приветствуя даму, то ли поправляя шляпу, коснулся её полей и скользнул мимо. Он шёл по широкой и радостной улице Горького и вспоминал.

...Было это в далёком 1918-м, в Харькове, раздиравшемся бандитами всех мастей. Женщину-мечту Исаак увидел в полуподвальном кафе. Вера Леонидовна Юренева приходила в полуночные заведения города, чтобы избавиться от тоски.

Молодой музыкант заворожённо смотрел на актрису, имя которой уже обросло легендами. Это была страстная и увлекающаяся натура, без оглядки пускавшаяся в любовные приключения.

Сближение с Юреновой произошло в театре Синельникова. Вера Леонидовна предложила Исааку Осиповичу сделать программу любовной лирики. Тот с готовностью согласился и приступил к работе над музыкой к «Песне песней» ветхозаветного царя Соломона.

Юренева играла с юношей, а он влюбился со всей страстью поэтической натуры и молодости. Позднее с грустью говорил:

– Это была любовь, по силе более неповторимая. Мне теперь кажется, что она забрала мою жизнь в мои двадцать лет и дала мне другую.

Работа, которую композитор сделал для актрисы, он так и не решился отдать на суд публики – незримая нить ещё долго соединяла с женщиной, перевернувшей всю его душу. «Встрече с ней, – писал Дунаевский, – я обязан одним из лучших моих произведений, музыкой к „Песне песней“... „Песнь песней“ лежит у меня далеко спрятанной, как нежное хрупкое воспоминание о далёкой и печальной моей любви».

...Они встретились впервые весной. И опять была весна, но уже последнего предвоенного года. Прошла четверть века – целая жизнь. Композитор шёл по главной улице столицы и шептал:

О, ты прекрасна, возлюбленная моя,  
ты прекрасна...  
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,  
и пятна нет на тебе.

По-прежнему сияло солнце. В дождевых каплях сверкали изумруды. Но на сердце было тяжело и тоскливо.

**Там, на линии фронта.** Во время Великой Отечественной войны дом писателей в Лаврушинском переулке был частично разрушен, и И. Г. Эренбург жил в гостинице «Москва». Этой привилегии он был удостоен как корреспондент газет «Правда», «Известия», «Красная Звезда», в которых почти ежедневно появлялись его статьи, передававшиеся ещё и по радио. Впечатление, которое производили эти публикации на современников, надолго оставались в их памяти, а на фронтах войны становились оружием советских солдат и офицеров; маршал И. Х. Баграмян считал их «действительнее автомата». Илья Григорьевич был зачислен «почётным красноармейцем» в 1-й танковый батальон 4-й гвардейской бригады.

В дождливый мартовский вечер 1942 года с Эренбургом встретился автор романа «Два капитана» В. А. Каверин. Встретились писатели у входа в гостиницу: Илья Григорьевич вывел погулять собаку. Пришлось его подождать. Вениамин Александрович стоял и наблюдал.

У подъезда остановилась фронтовая, закамуфлированная машина, из которой, разминаясь, вылез молодой офицер. Взгляд его упал на сгорбленную фигуру Эренбурга, терпеливо ждавшего, пока собака закончит то, ради чего её вывели из тёплого помещения.

– Чёрт знает что! – возмутился военный! – И откуда ещё такие берутся? Просто уму непостижимо!

Понимая, что офицер говорит это не для себя, Каверин сказал:

– А вы знаете, кто это? Эренбург!

– Ну да?

– Честное слово!

– Да вы шутите!

Вениамин Александрович ещё раз подтвердил, что офицер имеет честь лицезреть спину знаменитости. И тогда он вернулся к машине, сказал что-то водителю, и, перешёптываясь, они смотрели на Эренбурга, пока он не исчез в темноте. Всё было прощено мгновенно: и до неприличия штатский, тыловой вид, и то, что кому-то, видите ли, ещё до собак дело, и старый берет, из-под которого торчали давно не стриженные седые лохмы.

Отношение к штатским во время войны отнюдь не было благожелательным. Вернувшийся к подъезду Эренбург сразу набросился на Каверина: почему он не на фронте, а отсиживается в Москве. Вениамин Александрович успокоил его, сообщив, что является военным корреспондентом «Известий» на Северном фронте и только-только приехал из Мурманска.

В номере гостиницы Каверин напомнил Илье Григорьевичу об их последней встрече в мирное время:

– Наш разговор начался с воспоминания о том, с какой непостижимой точностью Эренбург предсказал дату начала войны. 1 июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнётся война?» – Эренбург ответил: «Недели через три».

И вот она идёт почти год, конец её не предвидится, есть о чём подумать, и гость подытожил свои наблюдения: «На окнах, на столе, на полу, на диване лежали рукописи – Эренбург был как бы вписан в этот своеобразный пейзаж. Он похудел, был бледен, очень утомлён.

В середине разговора, не допив свой чай, он расстелил на столе большую грязную карту и стал рассматривать её с карандашом в руках, что-то прикидывая, соображая. Впечатление человека потрясённого, отдалившегося от всего случайного, неотступно думающего о том, что происходит там, на линии фронта».

**Не ко времени.** В писательской среде он прослыл высокой порядочностью, непримиримостью к лжи (во всех её проявлениях и оттенках) и язвительностью. Последней переполнена

вся его публицистика, но мы ограничимся примером из дневниковой записи, сделанной Владимиром Сергеевичем 20 января 1982 года: «По телевидению сейчас передали, что умер на 65-м году Семён Цвигун, зам Андропова. Ну, тут понять можно. Его последний роман (как и предыдущий, впрочем) напечатали одновременно и В. Кожевников, и А. Софронов. Конечно, он из этого заключил, что замечательный писатель, – вот сердце могло не выдержать. Словом, в его смерти виноваты редакторы „Огонька“ и „Знамени“».

Без колебаний и пиетета по отношению к высоким особам Бушин изобличал их публично. 19 ноября 1985 года поднёс дулю председателю Правления Союза писателей СССР Г. М. Маркову: «Ну и дали мы в День артиллерии, залп по толстобрюхим».

«Мы» – это В. Лазарев и наш герой. Перепалка с президиумом партийного собрания произошла по поводу «изданий-переизданий» узбекских и таджикских писателей в переводах Маркова и его дочери Ольги. Человек основательный, Бушин хорошо подготовился к собранию: убийственные цифры по злоупотреблению властью секретариатом Союза писателей ошеломили рядовых его членов и заставили понервничать руководство Союза. На следующий день Бушин с внутренним удовлетворением писал: «А как толстобрюхие изворачивались, как пытались процедурными хитростями запутать нас, сбить с толку! Не удалось.

Я чувствую себя сейчас как Пётр после Полтавы».

Впрочем, что Союз писателей – Бушев брал высоты и повыше:

*«М. С. Горбачёву, Н. И. Рыжкову. ЦК КПСС. 25 октября 1985 года.*

*Уважаемые товарищи<sup>5</sup>.*

*Вы настойчиво призываете народ к свежести взгляда на вещи, к новизне подхода к проблемам жизни, к слитности слова и дела. Очень хорошо!*

*Но вот вам через несколько дней предстоит подписать важный документ, который явится воплощением совершенно противоположного – косности взгляда, рутинности подхода, полного разрыва слова и дела. Это – постановление ЦК КПСС и Совета министров о присуждении Государственных премий.*

*После того как в 1978 году председателем Комитета по премиям назначали Г. М. Маркова, из процесса присуждения премий исчезли последние остатки демократичности.*

*Теперь премии не присуждаются в результате обсуждения, а просто раздаются. В этом году, как и прежде, никакого обсуждения в печати не было. Дело доходит до бессмыслицы».*

Далее Бушин приводил конкретные примеры этой бессмыслицы и спрашивал:

– Вам, новым руководителям, какая нужда начинать свое участие в деле премий с одобрения замшелого порядка?

Конечно, обращался Владимир Сергеевич к руководителям партии и страны для очистки совести; в изменениях к лучшему он сомневался, а потому закончил своё письмо весьма пессимистичной фразой: «Если всё остаётся по старому даже в такой области, как литература, то какие же надежды на перемены к лучшему!»

Итогом этого обращения в верха и выступления на партийном собрании стало лишение Бушина пригласительного билета на Съезд писателей РСФСР. Он проходил в Кремле (первый день, 11 декабря 1985 года) и в Колонном зале Дома Союзов (последующие дни). На открытии съезда случилось невиданное: с трибуны его делегаты прогнали аплодисментами М. Алексева, Р. Гамзатова и Е. Исаева. По этому поводу Владимир Сергеевич писал: «Когда в Кремлёвском

---

<sup>5</sup> Товарищи – без всякого чинопочитания и словоблудия.

дворце в присутствии членов Политбюро сгоняют с трибуны увенчанных героев, то это что-нибудь значит».

Не дожидаясь разрешения этого «что-нибудь», Бушин направился в Дом Союзов и без затруднений (по членскому билету Союза писателей) попал на съезд. По пути в Колонный зал у него родились следующие строки:

Когда говорунов отпетых  
С трибуны гербовой в Кремле  
Сгоняют, догола раздетых,  
Жить веселее на земле.

В Доме Союзов Владимир Сергеевич оставался до пяти вечера. Оттуда шёл пешком до Белорусского вокзала (то есть по улицам Охотный Ряд и Горького) и предавался воспоминаниям о прошедшем дне, который оказался насыщенным интересными встречами.

Конечно, грели душу приветствия более-менее близких людей:

– Тобой все восхищаются (А. Пистунова).

– Это сверхразум. Ты как Александр Матросов, бросаешься на амбразуру (А. Мошковский).

– Это офицерский поступок (В. Гордейчев).

«Залп» Бушина по толстобрюхим пришёлся литераторам по душе, и на второй день заседаний съезда писателей он оказался в центре внимания многих. «В суете и толчее всё же удалось поговорить или хотя бы перемолвиться словечком в кругах с Мишей Лобановым. Несколько раз говорили и в буфете, и в фойе. Много было интересного и согласного, но он пугает меня своей чрезмерной критичностью. Вот и о Твардовском говорил плохо, хотя в том, о чём говорил, был прав. Александр Трифонович писал „дура-смерть“ и т. п».

– Он никогда не думал о смерти. А как вельможно держался!

И вспомнил, что в своё время он будто бы отрёкся от отца.

Суета и толчея не помешали Бушину дважды перекинуться словечком с В. П. Астафьевым. Владимир Сергеевич похвалил его статьи в «Правде», «Литературной России» и «Литературной газете». По поводу первой (в «Правде») Виктор Петрович сказал, что Чайковский и А. Иванов ходили в отдел пропаганды ЦК к Яковлеву с возмущением, как, дескать, он пишет, что наши солдаты бежали.

В ответ Бушин рассказал сибиряку о своём выступлении 19 ноября на партийном собрании и выслушал его критику по поводу статьи «Военная пора Маркова». Времени объясняться не было. Расстались на обещании Владимира Сергеевича указать на свои доводы в отношении председателя Союза писателей в письме к Астафьеву.

С претензией на особость подошёл Анатолий Рыбаков. С обидой напомнил, что в прошлом году Владимир Сергеевич не дал ему почитать «Анти-Б.». «Да, – вспоминал Бушин, – я тогда сказал ему, что мы, дескать, незнакомы и, пожалуй, не совсем корректно с моей стороны давать незнакомому человеку неопубликованную рукопись отрицательного свойства об известном писателе. Он тогда согласился. Мы, говорю, соприкасались лишь один раз, и заочно: вы были председателем приёмной комиссии, и там было отклонено моё заявление о приёме из-за одной „телеги“. Да, говорю, я был в Доме кино, куда явился крепко выпившим, и, стоя в ложе, вступил в полемику к каким-то писателем, выступавшим с эстрады (был праздник 8 Марта).

– А это, – говорит Рыбаков, – было представлено как антисемитская выходка.

– Возможно, что писатель и был евреем, но я этого не мог знать. Мне передали, что вы тогда сказали приблизительно так: „Мы Бушина знаем, его принять надо, но вот „телега“, и потому вернём дело в секцию“.

– Да, и мне дал хороший отзыв Леонид Зорин».

Рыбаков уезжал в Венгрию. Договорились, что после его возвращения Бушин пришлёт ему просимую рукопись.

О ней же говорил с Владимиром Сергеевичем Даниил Гранин, которому «Анти-Б.» был послан летом с целью публикации в журнале «Нева». Он назвал труд Бушина огульным (с чем тот согласился), но отметил, что в нём много удивительно меткого, интересного.

– Я за публикацию таких работ, – заявил Гранин, – так как должны существовать разные мнения. Но она для журнала велика по объёму.

Конечно, Даниил лукавил, почему потребовалось полгода, чтобы сообщить автору о том, что для публикации «Анти-Б.» работу надо сократить. Не хотелось маститому писателю конфликтовать с Ю. Бондаревым, против деятельности которого на высоких литературных постах была направлена работа его однокашника по Литературному институту. Труд этот объёмен, Бушин говорил по этому поводу:

– Конечно, я родом из Ла-Манчи. Вот написал 1000 страниц, которые, по всей видимости, никто не напечатает, и ведь я знал об этом, когда писал.

Человек, взыскующий к истине, Бушин отдавал должное заслугам сокурсника по институту на поприще литературы, но без всяких скидок бичевал его как чиновника и администратора. В «Анти-Б.» много материала по обоим из этих аспектов, приведём лишь пару примеров в отношении Шолоховской премии, о которой Бондарев, будучи председателем комитета по присуждению оной, писал: «Международная Шолоховская премия уникальна тем, что она объединяет ярчайшие личности планеты в борьбе с мировым злом. Авторитет её неоспоримо высок. Её лауреатами стали крупнейшие писатели и общественные деятели...»

Да, стали! И никаких возражений против личностей этого ряда у автора «Анти-Б.» нет. «Очень хорошо! Действительно яркие личности и крупные писатели, – соглашался Бушин. – Но ты почему-то не упомянул тех, о ком сказал когда-то:

– Сегодня у нас праздник. Мы награждаем премией имени Шолохова Патриарха всея Руси Алексия Второго и выдающегося поэта всея России Валентина Сорокина.

Что ж, Юра, сегодня о патриархе умолчал? Или вспомнил, что, получив Шолоховскую премию, он вскоре, в день 70-летия Ельцина, перед лицом всего народа объявил этого предателя Владимиром святым наших дней и преподнёс ему золотую статуэтку равноапостольного князя. А почему забыт „выдающийся“, „крупнейший“ и „ярчайший“ Сорокин?»

Вопрос этот риторический, ибо Бушин сам ответил на него, связав ответ с сочинением Сорокина «Крест поэмы» (2000 г.):

– Ничего более дремучего и злобного я не читал. Сорокин поносит и советскую власть, и Отечественную войну советского народа, и множество советских писателей, но всего злобней клеветает на Шолохова. И как раз вскоре после выхода этой книги ты вручаешь ему Шолоховскую премию, лобзаешь и спешешь всех обрадовать: «Сегодня у нас праздник!» Можно ли вообразить, что Булгарина наградили премией имени Пушкина? Ты это проделал.

Литературовед Николай Федь получил премию сразу после выхода его книги «Художественные открытия Бондарева», Иван Савельев – за прямое холуйство. С «шедеврами» его беззастенчивой лести стоит познакомиться:

– Юрий Бондарев – последний из работающих ныне великих писателей.

– Он – Поэт!

– Поэтов в прозе у нас было не так уж много: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Бунин, Горький, Леонов, Шолохов, Бондарев. Я говорю о великих художниках и Творцах первого ряда.

– Бондарев – поэт интуиции; ею в высшей степени обладали Пушкин и Толстой...

– Бондарев как Пушкин...

– Бондарев как Толстой...

- Бондаревская поэзия – нестареющая красота. Тут весь Пушкин, а до него – весь Гомер.
- Юрий Васильевич – человек в высшей степени деликатный...

С последним утверждением панегириста, по-видимому, можно согласиться: только человек с гиперболической деликатностью может принимать такие притязания на свое место в сонме великих – от Гомера до Льва Толстого.

Бушин беспощаден в своей критике несправедливости, зазнайства, хамства, злоупотреблений всякого рода. Сергей Михалков говорил: «Попал Бушину на суд – адвокаты не спасут». Но он немстителен и незлобив: выдав на гора правду-матку о бывшем приятеле, считал, что это не должно отражаться на его личных отношениях с Бондаревым, и с лёгким сердцем поднёс к последнему юбилею Юрия Васильевича следующее поздравление:

Разрешите доложить  
Коротко и просто:  
Я большой охотник жить  
Лет до девяноста.

Так писал большой поэт  
Александр Твардовский,  
Но куда щедрей завет  
Оставил Маяковский.

Он считал, что надо жить  
Лет до ста без старости,  
Не болеть и не тужить,  
И не знать усталости,

Да при этом чтоб росла  
Бодрость год от года,  
Дабы добрые дела  
Делать для народа.

Так давай же, старый друг,  
Жить вторым заветом,  
И страну, и всех вокруг  
Радую при этом.

Хоть и старше мы с тобой  
Самого Толстого,  
Но куда деваться – бой!  
И в бою мы снова.

В нашем взводе этот граф  
Бой ведёт за души.  
Да, он с нами. Тут ты прав.  
Обнимаю. Бушин.

Словом, вместо сегодняшнего «ты – мне, я – тебе», ставшего законом, дедовское «ты мне друг, но истина дороже».

**И небывалое бывает.** Они встретились в вестибюле станции метро «Охотный Ряд» – бывшие лагерники Михаил Молостов и писатель Валентин Лавров. Последний получил широкую известность своими историческими детективами. В «Книжном обозрении» за 10 марта 1998 года сообщалось: «В фотоцентре на Гоголевском бульваре прошёл крупный аукцион рукописей и редких книг – без малого четыреста лотов. Наибольший ажиотаж вызвала вёрстка с многочисленной правкой первого полного издания Валентина Лаврова „Граф Соколов – гений сыска“».

За этот лот было заплачено 12 миллионов рублей! По слухам, расщедрился представитель одного американского университета, решивший, видимо, загодя собирать автографы русских писателей – пока они ещё здравствуют.

Бывшие страдалыцы (оба были осуждены как политические) обнялись и, конечно, вспомнив прошлое, заговорили о настоящем. Молостов оказался депутатом Государственной Думы первого созыва. Это удивило писателя, твёрдо убеждённого в том, что «эти важные люди на метро не ездят; они раскатывают на роскошных иностранных марках с мигалками на крышах и специальными номерами».

На недоумевающие вопросы бывшего солагерника Молостов заявил:

– Я ведь всегда был отщепенцем, вот и отказался от авто и всяких депутатских привилегий. Призывал остальных депутатов от них отказаться. Куда там!

– Небось, на тебя твои коллеги смотрят как на сумасшедшего!

– Хуже – как на личного врага! Если бы могли, пришили бы 58-ю!

По этой статье Молостов и попал в начале шестидесятых годов в мордовские лагеря. В Омске он преподавал марксизм-ленинизм, вёл ещё переписку с несколькими друзьями – обсуждали политические проблемы, проговаривали (не в лоб, конечно) способы их решения. Во всяком случае, в приговоре говорилось: «Обдумывали возможность создания организации».

Вот чтобы у «трёх товарищей» было больше времени для обдумывания, «самый гуманный в мире суд» отправил их куда Макар телят не гонял.

Во власть Молостов пошёл, чтобы «добрые дела делать». Сетовал Лаврову:

– Поверь, в нынешней Думе с этим очень трудно. Повальное взяточничество, проталкивание чьих-то интересов.

Но, как говорится, один в поле не воин; на всех уровнях государственных структур «народные» избранники продолжают являть примеры корыстолюбия и продажности. И что хуже всего – политической. Неслучайно в последние годы СМИ бьют тревогу по поводу пятой колонны.

**Прощание.** Весной 1918 года молодая художница Евгения Ланг весьма решительно порвала с поэтом В. В. Маяковским. Но забыть, вычеркнуть его из своего сердца не могла. Поэтому, уезжая на следующий год за границу, она не выдержала и позвонила ему, предложив встретиться. Местом встречи Ланг назначила угол Лубянской площади, у консистории. Женщина волевая и решительная, Евгения сразу объявила о цели свидания:

– Знаешь, я уезжаю за границу, и не могла уехать всё-таки, не повидав тебя.

– Я тебя не отпущу.

– Ну, об этом поздно говорить. Я решила ехать, потому что здесь мне дороги нету. Я знаю, что нам с тобой встречаться не нужно, у тебя – Брики, ты выбор сделал. А я поеду и буду художником. Я выбрала свою профессию.

По-видимому, в сознании Маяковского ещё оставались какие-то крохи воспоминаний о недавнем увлечении; и он принялся уговаривать Ланг остаться, изрёк даже крылатую фразу, одну из тех, на которые был щедр в отношениях с женщинами:

– А что я буду делать – Москва без тебя опустеет.

Конечно, Евгения колебалась, а Владимир Владимирович поддавал жару:

– Когда я думаю, что есть какое-то будущее, я его без тебя не представляю. У меня такое впечатление, что ты всегда в моей жизни была, даже раньше, чем я тебя узнал. И что ты будешь в ней всегда.

Слова, слова, слова...

Поверить в их искренность могла только одураченная простушка. Ланг к таковым не относилась, но речениям поэта внимала долго, так как любила его, но согласиться с его «особыми» отношениями с Бриками не могла. Встреча несколько затянулась:

«Долго мы стояли на углу и разговаривали. В конце концов он опустил голову и сказал:

– Знаешь, я, пожалуй, буду спокойней, когда ты уедешь.

И тут я сказала:

– Володя, я прощаюсь по-настоящему. Если мы с тобой встретимся, а мы с тобой наверняка встретимся когда-нибудь, я не буду ни разговаривать, ни перемывать старое. Вот теперь, теперь мы прощаемся».

...Эта женщина проявила железную силу воли. Она действительно дважды случайно встречалась с Маяковским в Берлине и Париже и говорила об этих мгновениях счастья: «Я, может быть, чересчур резко поступила». Вычеркнув великого поэта из своей жизни, Евгения Ланг продолжала его любить. На закате своих дней (в восемьдесят лет) она говорила сотруднику Научной библиотеки МГУ В. Дувакину:

– Понимаете, ко мне Маяковский обратился своей самой лучшей стороной. По отношению ко мне он за все годы никогда не был груб, никогда не был невнимателен и никогда не был резок. Я эту лучшую сторону приняла. Потом я очень много слышала всего. Но я, кроме светлого и хорошего, от него ничего не видела. Потом, много позже, я поняла, что тогда на всё смотрела в розовом свете.



*В. В. Маяковский*

**Роз не будет.** Поэт Анатолий Мариенгоф, друг Сергея Есенина и Рюрика Ивнева, был щёголем. Даже в суровые годы Гражданской войны тщательно следил за ногтями рук (это при необходимости топить буржуйку!) – красил их розовым лаком; волосы на голове вызывающе разделял гвардейским (прямым) пробором; ходил в новеньких лакированных ботинках и элегантном костюме. И это на фоне потёртых френчей и галифе, облезлых шуб, вязаных фуфаяк и башлыков.

К простым людям относился с плохо скрываемым презрением. «Сколько вокруг всякой мрази, – говорил он. – И только подумать, что для них мы творим и сжигаем себя в огне творчества!»

Эстетом и модником Мариенгоф оставался всю жизнь. Как-то в начале 30-х годов встретился на Театральной площади с Ивневым, приехавшим из Тбилиси на премьеру оперы Захария Палиашвили «Абессалом и Этери», либретто которой он перевёл с грузинского языка на русский. Мариенгоф же прибыл из Ленинграда для просмотра своей пьесы «Наследный принц»; её привезла на гастроли труппа одного из провинциальных театров.

Был ясный июльский день. После объятий, поцелуев и бормотаний несвязных слов Мариенгоф неожиданно сказал:

– Ты совсем не изменился. Что-нибудь принимаешь?

– Если бы было что принимать, – засмеялся бывший председатель «Общества поэтов», – это принимали бы все.

Старый приятель ничего не ответил, а посмотрев внимательно на визави, спросил:

– Красишь брови?

– Ты с ума сошёл, – воскликнул Ивнев. – Кто их красит?

– Как ты отстал от жизни! – удивился друг. – Красят теперь все – мужчины и женщины.

– Ну есть же такие, которые не красят.

– Этого не может быть, – твёрдо сказал Мариенгоф.

Ивнев знал, что в кармане пиджака приятель всегда носил маленький флакончик духов и шёлковый платок. Поэтому предложил:

– Не пожалей несколько капель своих парижских духов и проверь.

Проверил, но не поверил. Изрёк:

– Достал, значит, хорошую краску.

Ивнев так и не понял, шутит приятель или смеётся над ним. Мариенгоф отличался язвительным остроумием и ёрничал всю жизнь. Последний раз поэты виделись в 1960 году – Ивнев навестил больного друга. Мариенгоф попросил:

– Прочти свои стихи.

Ивнев прочёл. Стихотворение оканчивалось так:

Кому готовит старость длинный ряд  
Высоких комнат, абажур и крик из детской,  
А мне – столбов дорожных ряд  
И розы мёрзлые в мертвецкой.

– Это самое оптимистическое из всех твоих стихотворений! – воскликнул больной.

– Толя, какой же это оптимизм? – ошеломлённо прошептала жена Мариенгофа.

Тот развёл руками и пояснил снисходительно:

– Как вы не понимаете! Это же оптимизм – розы. Пусть даже мёрзлые. Никаких роз в жизни и после неё у нас не будет.

Не сегодняшнюю ли Россию имел в виду поэт есенинского круга?

**Две встречи.** Первая из них произошла осенью 1961 года. В. С. Бушину, сотруднику журнала «Молодая гвардия», позвонил некий майор из КГБ и предложил встретиться... под навесом левой стены Большого театра. Особого желания идти на «свиданку», конечно, не было, но и отказаться нельзя – не теща на блины приглашает. Встретились. Разговор был короткий, но весьма конкретный:

– Надеюсь на ваше содействие и помощь в случае чего.

– О чём говорить! – обнадёжил Владимир Сергеевич представителя грозной организации. – Если какой-то чрезвычайный случай, приму посильные меры.

Речь шла о плавании на теплоходе «Феликс Дзержинский» из Одессы в Египет советской туристической группы. Вполне естественно, что органы государственной безопасности были озабочены исходом этого вояжа. И что же наш блюститель общественной нравственности?

– Как только теплоход вечером отошёл от одесского причала, я сразу направился в бар и познакомился там с молодой русской парой из Франции: Олег и Марина. Он настроен очень прорусски: много рассказывал о знаменитых людях русского происхождения по всему миру. А она не помню, что говорила, но была очень мила. Прекрасно провели вечер. Обменялись адресами. На другой день, кажется в Стамбуле, они сходили. Я помог им нести вещи к трапу.

По возвращении из турне Бушин получил письмо от Марины, «очень трогательное и забавное, не шибко грамотное». Только собрался ответить – звонок и приглашение под тот же навес вдоль левой стены Большого театра. Тот же майор осведомился о впечатлении от зарубежного тура.

– Всё было прекрасно!

– А вот эта пара, с которой вы беседовали в первый вечер. Вы не завязали знакомство, не обменялись адресами?

– Нет! – твёрдо произнёс Бушин под укоризненным взглядом кербелевского Маркса<sup>6</sup>. Но основоположник великой утопии промолчал – тоже любил женщин.

Вторая памятная встреча произошла через сорок семь лет на Театральной площади. 9 Мая она (как и другие) становится местом сбора ветеранов Великой Отечественной войны. Постоянно бывал на ней в этот день известный журналист В. С. Бушин. Первый день Победы Владимир Сергеевич встречал в Кёнигсберге, тогда он так писал об этой эпохальной вехе в мировой истории:

«Как непривычно и странно: война кончилась. Уже с двух часов ночи почти никто не спал. И до утра была пальба из всех видов оружия. И раненые в госпиталях ликовали. Утром у репродуктора политотдела, когда ещё раз передавали акт капитуляции, встретил С. А. Шевцова. Мы поздравили друг друга и поцеловались. Позже он пришёл к нам на митинг, читал стихи.

В День Победы я гонял на велосипеде, которых здесь множество. Радость требовала физического выражения. Днём на одном из перекрестков были танцы, танцевали генерал Гарнич<sup>7</sup> и сам Озеров, наш новый командарм (Фёдор Петрович, 1899–1971, два ордена Ленина и др.). Все гадают: когда будут отпускать, кого в первую очередь. В такие дни, как сегодня, лучше молчать, всё равно не выразишь всей радости. Но не молчитесь!»

За восемь дней до окончания войны Бушину был присвоен чин капрала; служил он в 103-й Отдельной армейской роте воздушного наблюдения, оповещения и связи (50-я армия), пописывал стихи.

После оглашения акта о капитуляции Германии Владимир Сергеевич получил задание написать стихотворение о Сталине. Что он с удовольствием и сделал:

Если было б судьбой суждено мне  
Жить до ста, даже тысячи лет,  
И до тех бы времён я запомнил  
Дня победы и облик, и цвет,

---

<sup>6</sup> Монументальная скульптура К. Маркса работы Л. Е. Кербеля.

<sup>7</sup> Н. Ф. Гарнич – военный историк, автор книги «1812 год» (издания 1952 и 1956 годов).

Слёзы счастья и скорби на лицах...  
Отстояли мы волю и честь!  
Залпы тысячи пушек в столице,  
О Победе разнёсшие весть.

И простое сердечное слово  
Поздравленья отцом сыновей  
В этот день мы слышали снова,  
Дети разных земель и кровей.

Его слово нас в битвы водило,  
В амбразуры бросало сердца.  
И его беспощадную силу  
Враг сегодня узнал до конца.

...В 63-ю годовщину Великой Победы Бушин, при орденах и медалях, стоял у памятника К. Марксу и пытался увидеть в людском водовороте кого-нибудь из однополчан. Неожиданно к нему подошла супружеская пара, и женщина расцеловала Владимира Сергеевича, ввергнув 84-летнего ветерана в ступор.

Но на этом «театральная» история не закончилась. К следующей годовщине Победы незнакомка подала о себе весть по интернету: «Владимир Сергеевич, имею желание в очередной раз поцеловать вас в День Победы на Театральной». Бушин, человек внешне вспыльчивый и грубый, а внутренне отзывчивый и сострадательный, ответил через тот же интернет:

Всё помню, милая Наташа,  
Весь облик ваш, всю вашу стать,  
А тот поступок, смелость ваша  
Мне до сих пор мешают спать.  
Знавал я женщин, был в полоне  
Не раз у них, но чтоб в толпе  
При Марксе и при Аполлоне,  
Как на лесной глухой тропе...  
Я был бы лицемер, Наташа,  
Восторг свой в День Победы скрыв.  
Нет ничего на свете краше,  
Чем женский искренний порыв.

В воспоминаниях «Я жил во времена Советов» Бушин сделал такое примечание к приведённым выше строкам: «Маркс был рядом, и Аполлон взирал с Большого театра. Не хватало только Кербеля». Не удержался и прошёлся по адресу последнего:

— Он тогда<sup>8</sup>, женившись на лихой девчонке, кажется, ещё не был Героем Социалистического Труда, но уже был раза в три старше неё. Это не всегда хорошо. Довольно скоро он понял, что ему гораздо лучше было бы жениться не на дочери, а на матери. И маэстро без проблем сделал это.

---

<sup>8</sup> В 1965 году.

**У костра.** Было начало 1918 года. Алексей Николаевич Толстой возвращался с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С ним была жена, Н. В. Крандиевская, и попутчики: писатели Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин, А. Соболев.

Шли к Арбату. Мороз подгонял засидевшихся в гостях литераторов. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещения в городе не было. Ориентироваться помогали яркая луна да глубокая тропа, проложенная среди высоких сугробов. На перекрёстках улиц и переулков горели костры, у которых грелись постовые, проверявшие документы.

Возле Лубянки у одного из костров было особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе, широко жестикулируя, читал стихи. Завидя приближавшихся писателей с дамой, приветливо закричал:

– Пролетарии, сюда! Пожалуйста греться! А, граф! – узнал он Толстого и повторил: – Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.

Приветливым великаном был уже известный поэт Владимир Маяковский. Алексей Николаевич познакомился с ним пять лет назад в «Обществе свободной эстетики». Тогда Владимир Владимирович считался больше художником, чем поэтом, хотя окружение его уже предчувствовало священный дар в будущей знаменитости. Софья Дымшиц вспоминала об этом времени:

– Очень большой и прекрасный человек стоял среди нас на Воробьёвых горах. Он был больше всех нас, художников, которые, собравшись у Лентулова, вышли на эту прогулку. Он читал стихи, которые я, признаться, не столько понимала, сколько чувствовала. Мне казалось тогда, что это не стихи, а стихия – стихия поэзии, творчества и борьбы.

Вот и на этот раз, у костра, Маяковский что-то декламировал. Потом протянул руку в сторону Толстого и торжественно произнёс:

Я слабость к титулам питаю,  
И этот граф мне по нутру,  
Но всех сиятельств уступаю  
Его сиятельству – костру!

– Здорово! – одобрил экспромт Алексей Николаевич.

У костра оживление, смех. Толстой не отрываясь смотрел на Маяковского, видимо, любясь им. Андрей Соболев потянул писателя за рукав:

– Плохо твоё дело, Алексей, идём-ка от греха!

Мимо Китайгородской стены писатели спустились по склону Неглинной горы к Охотному Ряду. Пустынная тишина города, древняя стена и башни слева, горы снега, скрадывавшие все звуки, безмолвие звёзд, мерцавших над головами путников, – всё создавало иллюзию ирреальности, настроение отрешённости от сегодняшнего дня.

Долго шли молча. Снег тихо поскрипывал под валенками. Неожиданно Алексей Николаевич произнёс:

– Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.

И опять тишина. Каждый думал о своём, возвращаясь в промёрзлые московские квартиры первой послереволюционной зимы.

**«Так помни».** Редактор Госиздата Н. А. Брюханенко познакомилась с В. В. Маяковским летом 1926 года, постоянная связь с ним установилась в июне следующего. О степени их близости можно судить по следующим строкам воспоминаний Натальи Александровны «Пережитое»:

«Звал меня Маяковский большей частью очень ласково – Наталочка. Когда представлял кому-нибудь чужому, говорил: „Мой товарищ-девушка“. Иногда, хваля меня кому-нибудь из знакомых, добавлял: „Это – трудовой щенок“. Часто и мне говорил:

– Вы очень симпатичный трудовой щенок, только очень горластый щенок, – добавлял он с укором. – Ну почему вы так орёте? Я больше вас, я знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо».

Как-то Владимир Владимирович провожал товарища-девушку домой. Шли через пустую Лубянскую площадь. Наташа только что вернулась из Харькова, поездку куда Маяковский не приветствовал. Грустный и тихий, он пенял подруге:

– Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак не можете понять, что я всё-таки лирик. Дружеские отношения проявляются в неприятностях.

Чувствуя себя несколько провинившейся, на следующий день Наташа позвонила сама:

– Когда увидимся?

– Сегодня я занят, – огорчил её Владимир Владимирович, – но завтра приду к вам, покажу билетами, и мы пойдём в кино, потом в концерт, а потом в театр – сначала в Большой, потом поменьше, потом – в самый маленький.

На намеченные развлечения Маяковский шёл усталым и расстроенным. Отвлекая спутника от невесёлых мыслей, Наташа похвалила его статью о культурной революции, напечатанную в «Комсомольской правде».

– Вещь-то хорошая, – согласился Владимир Владимирович, – а из-за неё столько шума теперь. Луначарский написал в Агитпроп ЦК письмо с протестом. Я не думал, что про министров нельзя писать. Тем более предварительно звонил Луначарскому, и мне передали, что он на стихи не обижается. Строк шестьдесят выкинул после этого, и всё-таки...

Помолчал и добавил:

– Я считаю всё время, что я заодно с советской властью и о культурной революции написал не против, а за неё.

...По воспоминаниям «Пережитое», Наталья Брюханенко помогала Маяковскому в работе и скрашивала три последних года его жизни. Но оказывается – не только. Воспоминания её заканчиваются весьма многозначительным признанием: «Лилия Брик писала в 27-м году в Ялту Маяковскому, что „я слыхала, ты собираешься жениться, так помни, что мы все трое уже женаты...“ Это писалось обо мне».

**Синонимы.** В труднейшие годы становления СССР наиболее ответственные посты нового государства занимал Ф. Э. Дзержинский: председатель ВЧК-ОГПУ, председатель ВСНХ и нарком путей сообщения. То есть в годы экономической разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, Феликс Эдмундович восстанавливал железнодорожное движение и промышленность страны, ликвидировал саботаж этому, боролся с контрреволюцией, спекуляцией и детской беспризорностью. И на всех своих совмещаемых постах Дзержинский сделал достаточно много, чтобы вызвать ненависть тех, кто был так или иначе причастен к разрушению великого государства; именно с него началась вакханалия низвержения памятников советским государственным деятелям, писателям и учёным.

В Москве памятник Феликсу Эдмундовичу возвышался в центре площади, носившей его имя, и был снят с пьедестала 22 августа 1991 года. Расправа с железным Феликсом происходила в обстановке крайнего возбуждения огромной массы людей, потерявших всякое чувство реальности. Поэт Е. Евтушенко писал в своих мемуарах «Волчий паспорт»:

«В толпе неподалёку от меня судорожно дёргался истощённый истерическим комплексом неполноценности, весь искривлённый человек,

захлебываясь от ненависти, видимо, ко всем знаменитым людям, которая у него фонтанировала изо рта, ноздрей и ушей:

– Пора скинуть с пьедесталов не только политических, но и литературных подхалимов, чекистов, стукачей, начиная с Пушкина! Да-да! С Пушкина, господа! Хватит идеализировать наши памятники! Кто как не Пушкин бегал к шефу жандармов Бенкендорфу, кланя, чтобы тот заступился за него перед царём?! А Горький, прославлявший Беломорканал, построенный на костях заключённых? А о Маяковском нечего и говорить – он сам был чекистом!

Вот такие взгляды на классиков отечественной литературы были внедрены всяческими „голосами“ и „народными“ доброхотами в сознание советской интеллигенции к концу существования СССР. Всё было плохо не только в стране рабочих и крестьян, но и в той России, „которую мы потеряли“. Наступило трагическое десятилетие нашей нелёгкой истории, десятилетие, которое не имеет аналогов в существовании развитых цивилизаций.

Телевидение, радио и пресса довели народ до полного оболванивания, и он не увидел трагедии в развале первого в мире социалистического государства. Но 22 августа кое-как ещё трепыхался. Из толпы выступил седой человек со сплошным рядом стальных зубов и заговорил, произнося каждое слово внятно и твёрдо:

– Всё это неправда. Пушкин ходил к шефу жандармов только для того, чтобы пробить через цензуру „Бориса Годунова“<sup>9</sup>. А скольких людей Горький спас во время революции... Я был заключённым на Соловках, когда туда приехал Горький. Нас помыли, постригли, приодели, дали в руки свежие газеты. В знак протеста мы перевернули газеты вверх ногами. Горький понял, что мы хотели этим сказать. Он подошёл ко мне и перевернул газету. Глаза его были полны слёз. Я уверен в том, что Горький поехал на Беломорканал, чтобы Сталин его выпустил, а за границей рассказал бы всему миру правду о лагерях. Но Сталин разгадал Горького, и его убили, да и Маяковский не палач, а жертва...

Ввязываться в полемику с бывшим зэком искривлённый человек не стал и переключился на современную ему знаменитость:

– Да это же Евтушенко! Посмотрите, это он, собственной персоной, наверно, только из Америки, такой доступный, без многочисленных жён и поклонниц, и пешком – не за рулём своего чёрного мерседеса! Как нам всем повезло! А вот вы нам скажите, дорогой наш будущий памятник, если вы на самом деле такой уж честный человек, почему вы никогда не были арестованы, а? За какие заслуги вас так берегла советская власть? Не хаживали ли вы, часом, как я слышал от некоторых ваших литературных коллег, вот в это самое гостеприимное здание?»

Хаживал. Конечно, по его уверениям, ради защиты преследуемых КГБ. Но кого убедишь в этом, особенно если ты человек с очень подмоченной репутацией – хамелеон и приспособленец. Как человек Евтушенко популярностью не пользовался. Люди чувствовали гнильцу в натуре поэта, и никто не вякнул в его защиту. Оскорблённый до глубины души Евгений Александрович безропотно удалился с «поля битвы», с грустью размышляя о несоответствии идеалов с действительностью:

---

<sup>9</sup> Попасть к А. Х. Бенкендорфу было сложно; А. С. Пушкин встречался с ним один-два раза, но много писал по литературным делам. Сохранилось 55 писем и три деловых документа, направленных поэтом Александру Христофоровичу.

«Не зная, что такое свобода, мы сражались за неё, как за нашу русскую интеллигентскую Дульсинею. Никогда не видя её лица наяву, а лишь в наших социальных снах, мы думали, что оно прекрасно. Но у свободных множество не только лиц, но и морд, и некоторые из них невыносимо отвратительны».

Словом, не та свобода оказалась в России, и с присущей ему прытью Евгений Александрович сиганул в США, где проблем со свободой (по его твёрдому убеждению) никогда не было.

Кстати. Характерна оговорка, сделанная Евтушенко в его воспоминаниях: «Ни разу не пересечься советскому писателю и КГБ было просто физически невозможно, потому что КГБ было везде». Вот так знаменитый поэт, с присущей ему «интеллигентностью», отождествил свою страну с Комитетом государственной безопасности. То есть это, по его мнению, даже не близнецы-братья, а просто одно и то же, синонимы.

**Знатоки.** Как-то С. А. Есенин ехал на извозчике из Политехнического музея (то есть по Новой площади). Разговорившись с хозяином этого средства передвижения, спросил, знает ли он Пушкина и Гоголя:

– А кто они такие будут, милой? – озадачился извозчик.

– Писатели. На Тверском и Пречистенском бульварах памятники им поставлены.

– А, это чугунные-то? Как же, знаем!

Сергей Александрович редко бывал один. На этот раз оказался вместе с писателем И. И. Старцевым, которому и посетовал на равнодушие современников:

– Боже, можно окаменеть от людского простодушия! Неужели, чтобы стать известным, надо превратиться в бронзу?

**Две королевы.** Напротив Политехнического музея с 1935 по 1998 год находился Музей Москвы (тогда – Музей истории города Москвы, а ещё раньше – Музей истории и реконструкции Москвы). Он размещался в здании церкви Иоанна Богослова под Вязом и имел несколько филиалов; нас интересует один – Английское подворье.

Оно находится на Варварке, между церквями Варвары и Максима (то есть внутри Китай-города). Это одна из немногих гражданских построек середины XVI столетия, дошедшая до нашего времени. Для размещения в ней музейной экспозиции требовалась очень серьёзная реставрация здания. Ею несколько лет занималась молодая сотрудница музея Инна Рощина, которая буквально жила этим уникальным памятником и посвятила ему стихи:

Есть Английский двор с обрубком крыльца,  
С ростком тополиным на крыше.  
Кто строил? Кто жил в нём?  
Века. Они здесь сквозили по каменным нишам.  
В распалубках залы звенели шаги,  
А сильные люди, сгружая тюки,  
Косяк задевали плечами,  
И люстры слезились свечами.  
Матросы, торговцы, послы, знахари —  
Такие далёкие речи —  
Любили погреться у русской печи,  
Болтая на странном наречье.  
Их море носило из дальней земли,  
А с морем не всякий поспорит.

Строители, дел золотых мудрецы  
Знавали, что мужество стоит.  
И что мне до них? Почему не могу  
Не думать, как жили, что пели?  
Россия, тебе поверяли судьбу  
В те давние годы Горсеи.  
И льстили тебе, и бранили тебя,  
Дивились, страшась разоряли.  
А всё-таки деток родили  
И язык твой учить наставляли.  
Пожары – татары, поляки – война,  
Опалы, лихие години  
Людины – людины – чужая страна,  
Врозь веры – а беды едины.  
Да, многое помнит тот аглицкий дом,  
Тот – русский, за частым забором.



*И. Рощина*

До открытия экспозиции работа на Английском подворье была весьма далека от музейной: наблюдение за ходом реставрации этого памятника истории; координация научно-исследовательских работ по нему; подготовка всякого рода справок и документов в Госинспекцию, Управление культуры и другие организации... Общаться приходилось в основном с мужчинами, которые, отдавая должное внешним данным Инны и той настойчивости, с которой она отстаивала интересы музея, прозвали её королевой Английского двора.

И вот в октябре 1994 года Рощиной пришлось сыграть эту роль в действительности. Во время официального визита в СССР королева Великобритании Елизавета II изъявила желание осмотреть здание, с которым долгое время были связаны дипломатические и торговые отношения России и Англии. Честь приветствовать высокую гостью невольно досталась хозяйке Английского двора, и она с блеском выполнила эту задачу.

Рощина буквально очаровала старушку, и, поскольку она знала английский язык, королева отказалась от услуг переводчиков. Свершилось небывалое: невольно оттеснив официальных лиц, сопровождавших Елизавету II, Рощина целый час занимала её внимание рассказом о вверенном её попечению памятнике – его истории, ходу реставрационных работ и его будущем как музея Старый Английский двор.

Визит королевы невольно вышел за рамки официальщины, что она и подчеркнула при прощании. Все были довольны: представители Министерства культуры и Управления музеев, Моссовета – тем, что удалось скрыть огрехи реставрации; дирекция Музея истории Москвы – удачным приёмом высокой гостыи, а все вместе – явным удовлетворением королевы Британии своим неофициальным визитом.

И ещё, Елизавета не забыла об очаровательном «экскурсоводе». Где-то через месяц после посещения ею Английского подворья в Министерство иностранных дел СССР пришло официальное приглашение на имя Рощиной. Королева Великобритании звала в гости королеву Английского двора.

## Замоскворечье

**Б. Полянка, 20.** Сегодня под этим адресом числится Детская городская клиническая больница № 20 неотложной хирургии и травматологии имени К. А. Тимирязева. Когда-то её корпуса занимала Иверская община, основанная в 1896 году. Для нас она интересна тем, что в ней почти треть жизни работала Н. А. Пушкина (1871–1915), внучка поэта.

Надежда Александровна была дочерью старшего сына Александра Сергеевича. После окончания ею петербургской гимназии княгини Оболенской семья переехала в Москву. Жили в Трубниковском переулке, 14.

Училась девушка хорошо, проявляла необычайную склонность к химии, но жизнь у нее как-то не сложилась. Мы ничего не знаем о том, на что ушла её молодость. Но можно определённо сказать, что что-то случилось, что-то толкнуло энергичную, полную сил 33-летнюю женщину фактически порвать со светской жизнью.

В 1904 году Надежда Александровна пришла в Иверскую общину учиться на фельдшерских курсах, а после их окончания осталась работать сестрой милосердия. Некоторое время была испытуемой, а вскоре стала «крестовой», то есть приняла обет безбрачия и целомудрия.

Служение сестер Иверской общины являлось безвозмездным. Это было первое условие их христианского призвания. Сестры не имели права принимать какие-либо вознаграждения ни от учреждений, ни от отдельных лиц. Одеждой им служили тёмно-коричневые платья и длинные белые передники, на голове – белоснежный платок, который подвязывался под подбородком. Фартуки сестёр выделялись большими красным крестами. На шее носился крест с изображением лика Богородицы и надписью «Сердоболие».

В общине Надежда Александровна, как говорится, нашла себя. Всегда подтянутая, одетая в хорошо отутюженное платье и накрахмаленный передник, она была примером для других сестёр, проявляя высокий профессионализм, доброту и сердечность.

Через пять лет после вступления в общину Надежда Александровна стала её настоятельницей. В годы руководства ею Иверской общиной были построены здание аптеки, терапевтический и хирургический корпуса, часовня, а также перестроено одноэтажное здание 1860 года, обращённое фасадом к Малой Якиманке.

В ноябре 1909 года сестры общины приняли на себя несение ночных дежурств в убежище для больных туберкулезом. Убежище находилось в Большом Спасском переулке. В него Марфо-Мариинская обитель помещала безнадежно больных бедных женщин. В течение года сестры ухаживали за 65 пациентками, 35 из них выздоровели. С началом Первой мировой войны в Иверской общине начали формироваться добровольческие бригады из священников, врачей и сестёр милосердия. Они развертывали полевые стационарные госпитали на фронтах Западной Украины и Бессарабии. Надежда Александровна на фронт не выезжала, обеспечивая деятельность общины в Москве. Дел хватало: формирование полноценного сестринского состава бригад, контроль за работой сестёр, хозяйственные заботы.

Длительное перенапряжение (бессонница, переживания, перегрузки) скоро сказались на здоровье настоятельницы. 15 июня 1915 года Надежды Александровны не стало. Прожила она только 43 года.

В заключение надо сказать, что в отличие от большинства старых московских зданий, истории которых новые владельцы не знают и не хотят знать, в Детской клинической больнице № 20 помнят истоки своего прошлого. И в 1996 году здесь отметили 100-летие Иверской общины. Многие сотрудники больницы интересуются историей и литературой, любят произведения А. С. Пушкина. Больница поддерживает связи с потомками гениального поэта.

**Вычеркнутая страница.** И. Н. Кнебель, основатель издательства, выпускавшего с конца 1890-х годов книги и альбомы по русскому изобразительному искусству родился в заштатном галицийском городке Бучач. В тринадцать лет он ушёл из дома, поссорившись с отцом. В двадцать с небольшим окончил Коммерческий институт в Вене и двинулся в Россию, охваченный фатальной страстью к искусству (коммерция, а до нее медицина не интересовали его).

В Москве Иосиф Николаевич устроился в магазин иностранной книги Девриена. Изучал русский язык, что давалось ему легко (к концу жизни знал четырнадцать иностранных языков), знакомился с русской живописью и русскими музеями. Но жил он одной мыслью – о создании издательства. Как-то во дворе будущей Третьяковской галереи «изловил» её основателя и представился как австрийский подданный, любитель русской живописи. Обрушив на Павла Михайловича свои длительные раздумья о величии (и безвестности) русского искусства, Кнебель заинтересовал его. Третьяков пригласил Иосифа Николаевича в дом для обстоятельного разговора. Там спросил:

– Каким капиталом вы располагаете?

– У меня нет денег.

– То есть как нет? Совсем нет?

– Ни копейки.

– Не понимаю вас, молодой человек. Вы, по-видимому хотите увлечь меня интересным делом. Вы хотите, чтобы я вложил деньги в издательство. А что вы сами собираетесь делать в этом издательстве? Хотя... это не может меня интересовать, весь мой капитал в мануфактурной фабрике, а живопись я просто люблю, я коллекционер, трачу на нее деньги и не собираюсь ничего на ней наживать.

– Вы меня не поняли, – с отчаянием сказал Иосиф Николаевич, – я хочу издавать вашу коллекцию!

– Молодой человек, вы понимаете, что вы говорите? Как же вы будете издавать без денег? Как бы мало я ни разбирался в издательском деле, но ведь всякому ясно, что на это нужны бумага, печать, фотография...

И тут Кнебель рассказал о своем плане: он брался уговорить специалистов-фотографов сделать снимки в долг; он уговорит типографию дать бумагу и напечатать издание. Долги будут уплачены после продажи продукции. Издание, он гарантирует это, будет иметь оглушительный успех. Вся прибыль пойдёт владельцу картин.

Третьяков, который редко смеялся, расхохотался:

– А себе вы сколько оставите?

– Ничего, но зато я хочу получить полностью прибыль со второго издания.

– Знаете, молодой человек, – став сразу серьезным, сказал Третьяков, – вы или сумасшедший, или очень талантливый человек. Я скорее склонен думать, что вы сумасшедший. Я ничем не рискую. Я дам вам разрешение фотографировать картины своей галереи, но имейте в виду: никогда и ни при каких условиях не просите у меня денег.

– Мне ваши деньги не нужны, – уверенно заявил Кнебель, – и не я от вас, а вы от меня через год получите очень много денег.

Так и случилось. Без средств, при наличии лишь огромной энергии и неуёмной всепоглощающей любви к искусству и книге Кнебель создал первое в России издательство, которое в течение нескольких десятилетий пропагандировало богатства русского искусства. Оно находилось на Петровских линиях и немало содействовало развитию эстетического вкуса русской интеллигенции.

Кнебель издал альбомы гравюр и репродукций Айвазовского, Верещагина, Маковского, Орловского, Перова, Федотова, альбомы русских писателей и композиторов, пятитомную «Историю русского искусства» И. Грабаря. Он много сделал для высококачественного изда-

ния детской литературы. К оформлению детских книг привлекались Билибин, Нарбут, Серов и другие замечательные мастера. Издавались разнообразные пособия для школы. «Наглядность – основа обучения», – считал Иосиф Николаевич и издавал таблицы по истории, географии, астрономии, этнографии, зоологии и пр. Над пособиями работали художники Бенуа, Билибин, Добужинский, Кардовский, Лансере, Нестеров, Рерих, Серов.

После Октябрьской революции просветительская деятельность Кнебеля привлекла внимание Ленина, и его вызвали в Кремль.

– Здравствуйте, Иосиф Николаевич, – приветствовал Кнебеля председатель Совнаркома, – ну как, саботировать или работать?

– Работать, – без малейшего колебания ответил «буржуй».

– Я так и думал, – одобрил Ленин ответ. – Чудесно. А теперь, не теряя ни одной минуты, организуйте национализацию своего издательства. Нужна точнейшая опись всего имущества, издательского и типографского. В ближайшее время я вызову вас на заседание по организации Госиздата, и пояснил: – Самый крупный издатель-капиталист не может позволить себе такого размаха, такого тиража изданий, какие наметили мы – социалистическое государство.

**Здесь нет никакого Алёши.** В 1935 году у артиста Б. Н. Ливанова, будущего пятикратного лауреата Сталинских премий, родился сын. Борис Николаевич хотел назвать его Алёшей в честь писателя А. Н. Толстого, с которым очень дружил. Но не назвал – помешал досадный случай.

Как-то драматург Константин Тренёв устроил у себя на квартире званый вечер, на котором были оба приятеля. Толстой незадолго до этого представил в Художественный театр пьесу «Чёртов мост». Станиславский и Немирович-Данченко отклонили её.

Было обидно. А тут ещё раздражающий фактор – хозяин вечера, пьеса которого, «Любовь Яровая», с успехом шла на сцене Художественного. И Алексей Николаевич начал за столом громко сетовать на театр и договорился до того, что МХАТ кончается, изжил себя.

Тренёв забеспокоился и попросил Ливанова уговорить друга. Борис Николаевич поднялся с бокалом в руке и повёл речь о том, что Толстой (он назвал его Алёшей) гениальный писатель, но основатели Художественного театра – хозяева в нём и у них свои художественные принципы, которые мы не всегда понимаем. Тут писатель резко оборвал друга:

– Здесь нет для вас никакого Алёши. Вы обращаетесь к депутату Верховного Совета, члену Правления Союза писателей СССР Алексею Николаевичу Толстому.

Ливанов побледнел, но поправился:

– Товарищ депутат Верховного Совета, член Правления Союза писателей СССР Алексей Николаевич Толстой! К вам обращается народный артист РСФСР Борис Ливанов и хочет вам сказать, что ваша пьеса, – выдержав паузу, закончил: – дерьмо!

И друзья бросились друг на друга. Драка была нешуточной – участники званого ужина с трудом растащили вошедших в азарт не последних представителей отечественной культуры.

**Небожитель.** Драматург А. К. Гладков всю свою жизнь вёл дневник, в котором скрупулёзно фиксировал всё, что считал интересным в своей жизни. А интересовали его в первую очередь театр и литература. 11 ноября 1944 года Александр Константинович встретил на Пятницкой улице Б. Л. Пастернака. Борис Леонидович шёл к себе, то есть в Лаврушинский переулок. Гладков круто развернулся и последовал за поэтом. У дома 17 они остановились и поговорили около получаса. Пастернак сказал, что закончил перевод трагедии «Отелло».

– Не хотите ли вы перевести всего Шекспира? – пошутил Александр Константинович. Пастернак только махнул рукой и стал заверять собеседника, что больше не возьмет переводов. Гладков спросил о поэме «Зарево», отрывок из которой был опубликован 16 октября прошлого

года в газете «Правда». И тут у Бориса Леонидовича было неладно: читал поэму А. А. Фадееву, и тот отсоветовал её продолжать.

– Он помолчал, усмехнулся и добавил, что у него на выходе две книги и пока не стоит рисковать их судьбой.

То есть содержание поэмы было таково, что, по мнению председателя Союза писателей, могло вызвать негативную реакцию и повлиять на издание других произведений поэта. А в 1943–1944 годах печатался он довольно активно: «Зарево» в «Правде», «Смерть сапёра», «Преследование», «Летний день», «Неоглядность» – в «Красной звезде», «Зима начинается» – в «Литературе и искусстве». Вышел отдельным изданием перевод «Ромео и Джульетты». Готовились к публикации книги «Земной простор» и сборник избранных стихотворений.

То есть рисковать всем этим ради ещё не написанной поэмы смысла не было. Но отказ от выношенного сюжета и насилие над собой угнетали. Настроение у Пастернака было неважное, и это нашло отражение в его послании поэту А. Е. Кручёных:

Я превращаюсь в старика,  
А ты день ото дня все краше.  
О боже, как мне далека  
Наигранная бодрость ваша!  
Но я не прав со всех сторон.  
Упрёк тебе необоснован:  
Как я, ты роком пощажён:  
Тем, что судьбой не избалован.  
И близкий правилам моим,  
Как всё, что есть на самом деле,  
Давай-ка орден учредим  
Правдивой жизни в чёрном теле!

«Правда жизни!» – звучит, конечно, красиво, но где, когда, в каком царстве-государстве была эта правда? Оба понимали, что это химера, и перешли к конкретным вопросам текущей жизни:

– Говорили о разных злобах дня: о переизбрании Рузвельта в четвертый раз президентом, о боях под Будапештом, о замене в Малом театре Судакowa Провом Садовским после разгромной статьи в «Правде», о постановке толстовского «Грозного».

– Вот видите, как мне не везёт, – с грустью заметил Борис Леонидович. – Судакow соби-  
рался ставить весной «Ромео и Джульетту»<sup>10</sup>.

К «злобам дня» Гладков отнёс выход книги Шкловского «Встречи». Писатель встречался со многими знаменитостями, но не все прошли цензуру военного времени. Из книги исключили очерки о писателе М. М. Зощенко, композиторе Д. Д. Шостаковиче и изобретателе Кости-  
кове. Собеседники пришли к одному выводу: книгу изуродовали, от неё остались рожки да ножки. Беседу у подъезда дома № 17 завершили обсуждением слуха о том, что в правительстве решен вопрос о вступлении СССР в войну с Японией.

Подводя итоги очередной встречи с обожаемым им поэтом, Гладков записал в тот же день: «На этот раз Б. Л. меньше, чем когда бы то ни было, показался мне отрешённым от окружающей жизни, и я даже пошутил, что он не оправдывает репутации небожителя. Он рассе-  
янно улыбнулся».

---

<sup>10</sup> Пастернак перевёл трагедию У. Шекспира на русский язык.

**Московские дворы.** В январе 1947 года Андрей Вознесенский, ученик шестого класса 554-й школы, познакомился с Б. Л. Пастернаком. Чем-то он понравился известному поэту, и на долгие годы между ними установились дружеские отношения. Борис Леонидович довольно часто звонил Андрею (иногда несколько раз в неделю), приглашал его к себе, ходил с ним в театр и другие учреждения культуры. Невольно Пастернак стал наставником и воспитателем своего юного подопечного. «Мы шли с ним, – вспоминал Вознесенский, – от Дома учёных через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шёл ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе<sup>11</sup>, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределённости жизни<sup>12</sup>. Его шуба была распахнута, сбилась на бок его серая каракулевая шапка-пирожок; он шёл легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была тёплая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своём рассудке,  
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

– Надо терять, – говорил он. – Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...»

Тут Андрей сказал, что в записях Блока есть место о том, что надо терять. Эту запись он сделал в связи со сгоревшей в Шахматове библиотекой.

– Разве? – удивился Борис Леонидович. – Я и не знал. Значит, я прав вдвойне.

Сокращая путь, они шли проходными дворами. У подъездов на солнышке дремали стаи рушники, рядом сидели кошки. После ночных трудов отдыхали блатные, провожавшие странную пару затуманенными глазами. Вспоминая эту картину, Вознесенский с ностальгией писал в воспоминаниях «Волчий билет»:

«О эти дворы Замоскворечья! О мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, играль-ных жосточек, майских жуков. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сли-вался с визгом „Рио-Риты“ из окон и стертой, соскальзывающей лещенковской „Муркой“, запи-санной на рентгенокостях.

4-й Щипковский переулок! Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и спра-ведливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры!

Где вы теперь, кумиры нашего двора – Фикса, Волядя, Шка, небрежные рыцари малоко-зырок? Увы, увы.» – с ностальгией говорит поэт.

К счастью, у подростка было увлечение – рано начал писать стихи. В четырнадцать лет у него уже была их целая тетрадь, и он недолго думая отослал её «соседу» – Б. Л. Пастернаку. Оба жили в Замоскворечье: Борис Леонидович – в Лаврушинском переулке, 17, Андрей – в 4-м Щипковском переулке. Пастернак что-то почувствовал в юном стихотворце и позвонил, а затем и пришёл (!) к нему. С этого дня началась их дружба.

«Он не любил, когда ему звонили, – говорил Вознесенский, – звонил сам, иногда по несколько раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии. Говорил он взхлёб, без-оглядно. Потом на всём скаку внезапно обрывал разговоры. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

---

<sup>11</sup> «Об уходе» – об оставлении Л. Н. Толстым 10 ноября 1910 года семьи и дома, об уходе его из Ясной Поляны.

<sup>12</sup> Неплохие темы для беседы с подростком.

– Художник, – говорил он, – по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а уныние и размазня не рожают произведения силы».

– Ставил ли он мне голос? – задавался вопросом Андрей Андреевич и так отвечал на него: – Он просто говорил, что ему нравится и почему.

Борис Леонидович иногда приглашал подростка в гости, когда у него бывали знаменитости того времени: А. А. Ахматова, И. Л. Андроников, А. Н. Вертинский, В. Б. Ливанов, Г. Г. Нейгауз, Р. Н. Симонов, К. А. Федин... Андрей жадно впитывал все разговоры, которые велись за столом. Тут было чему поучиться и что перенять.

В январе 1947 года Пастернак подарил Андрею первую свою книгу. «„Надпись“<sup>13</sup> эта, – писал Вознесенский, – была для меня самым щедрым подарком судьбы».

С переездом Пастернака в Переделкино встречи с ним проходили на природе – в парках и на бульварах. 18 августа 1953 года в скверике у Третьяковской галереи Борис Леонидович говорил много и сумбурно:

– Вы знаете, я в Переделкине рано – весна ранняя бурная странная – деревья ещё не имеют листьев, а уже расцвели – соловьи начали – это кажется банально – но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать – и вот несколько набросков – правда, это ещё слишком сухо – как карандашом твёрдым – но потом надо переписать заново – и Гёте – было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне, склерозных – идёт, идёт кровь, потом деревенеет – закупорка – кх-кх – и оборвётся – таких мест восемь в «Фаусте» – и вдруг летом всё открылось – единым потоком – как раньше, когда «Сестра моя – жизнь», «Второе рождение», «Охранная грамота» – ночью вставал – ощущение силы, даже здоровый никогда бы не поверил, что можно так работать, – пошли стихи – правда, Марина Казимировна говорит, что нельзя после инфаркта – а другие говорят, это как лекарство – ну вы не волнуйтесь – я вам почитаю – слушайте.

И прочитал стихотворения «Белая ночь», «Август», «Сказка». Немного помолчав, заговорил о переводах:

– Мне мысль пришла: может быть, в переводе Пастернак лучше звучит – второстепенное уничтожается переводом – «Сестра моя – жизнь» первый крик – вдруг как будто сорвало крышу – заговорили камни – вещи приобрели символичность – тогда не все понимали сущность этих стихов – теперь вещи называются своими именами – так вот о переводах – раньше, когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика, переводы не удавались – они были плохие – в переводах не нужна сила форм – лёгкость нужна – чтобы донести смысл – содержание – почему слабым считался перевод Холодковского – потому что привыкли, что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи – мой перевод естественный – как прекрасно издан «Фауст» – обычно книги кричат – я клей! – я бумага! – я нитка! – а здесь всё идеально – прекрасные иллюстрации Гончарова – вам её подарю – надпись уже готова.

Вознесенский уже был студентом. Борис Леонидович говорил с ним как с состоявшейся личностью. Прочитав очередную тетрадь его стихов, заявил:

– Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник<sup>14</sup>.

...Размышляя в зрелые годы о причине привязанности великого поэта к нему, Вознесенский задавался вопросом: «Почему он откликнулся мне?»

И так отвечал на него:

---

<sup>13</sup> *Надпись* – фамилия автора на обложке и титульном листе книги.

<sup>14</sup> В это время Пастернак готовил своё «Избранное».

– Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось вырваться из круга – и всё же не только это. Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину? Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нём.

На наш взгляд, тяга Бориса Леонидовича к Вознесенскому – подростку, юноше, молодому человеку объясняется во многом, как говорили раньше, и неким родством их душ.

Это очень заметно по дружественной надписи, сделанной Пастернаком на издании поэмы Гёте «Фауст», переведённой им:

«2 января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1 января.

Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, – большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас – Ваш Б. Пастернак».

**Мечта поэта.** В августе 1954 года в города европейской части СССР хлынул поток реабилитированных, возвращавшихся из-за Зауралья в свои пенаты. Среди них был и драматург А. К. Гладков, отсидевший шесть лет за чтение «не той» литературы. Первым, кого он встретил в Москве, был Б. Л. Пастернак. Произошло это в Лаврушинском переулке. Александр Константинович вспоминал:

– Уже слышал, что вернулись, – сказал Борис Леонидович, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих. – А я вот не исправился...

Фонетически это прозвучало по-пастернаковски: «А я воот не исправился...» Я обрадовался этим знакомым протяжным гласным как чему-то родному, утерянному и вновь обретенному. А семантически<sup>15</sup> здесь подразумевалось то, что я, освобождённый из «исправительно-трудовых лагерей», предположительно «исправился», а он, Пастернак, за это время проделал «противоположный путь».

Гладков обрадовал Бориса Леонидовича сообщением о том, что уже читал его стихи из романа «Доктор Живаго», опубликованные в журнале «Знамя». Поведал и о том, что всё время заключения возил с собой однотомник поэта; и читал его стихи по утрам, первым просыпаясь в бараке, а если ему мешало что-то сделать это, чувствовал себя весь день как будто не умывался.

– О, если бы я знал это тогда, в те тёмные годы! Мне легче было бы от одной мысли, что я тоже там... – воскликнул Пастернак и заговорил о возобновлении Центральным театром Советской Армии постановки пьесы «Давным-давно»:

– Вот видите, я оказался хорошим пророком. Сколько перемен во всём, и в наших судьбах тоже, а ваша девушка-гусар всё ещё скачет по сценам, – и грустно добавил: – А мне не повезло в театре.

– Зато вам повезло в другом, ведь после постановки в Художественном театре вашего перевода «Марии Стюарт» родилась «Вакханалия».

Борис Леонидович улыбнулся:

– А вы её уже знаете? И, конечно, заметили, что она написана наперекор всему, что я писал перед этим и после?

Гладков поспешил тут же высказать мнение о новом произведении мастера:

– Это большое и сложное по содержанию стихотворение, вернее, маленькая поэма, кажется, написанная одним дыханием, в один присест, залпом.

Пастернак был доволен замечанием младшего коллеги и дал некоторые пояснения по созданию «Вакханалии»:

---

<sup>15</sup> Семантически – по смыслу.

– Это хорошо, если так чувствуется, но не совсем верно. Я написал это почти в два приема, как пишу большую часть своих стихотворений. Но вы правы, оно было неожиданным для меня самого. Это прилив того, что обычно называют вдохновением. Знаете, бывает так: всю зиму в чулане стояла закупоренная бутылка с наливкой. Она простояла бы ещё долго, но вы нечаянно дотронулись до нее – и пробка вдруг вылетела. Эти стихи – моя вылетевшая пробка. Они удивили меня самого, но для меня ещё большая неожиданность, что они многим так нравятся.

...Среди рукописей Б. Л. Пастернака, оставшихся после его смерти, было найдено начало большой пьесы о крепостной актрисе, которую он писал в свои последние годы, так и не расставшись с мечтой о завоевании театра.

**Душа поэта.** В воспоминаниях о Юрии Карловиче Олеше драматург А. К. Гладков писал: «В начале мая 1958 года я стоял с Ю. К. у дома в Лаврушинском, где он жил. Он показал на одно дерево, самое нежное из всех, покрытое светло-зелёной, словно пуховой, листвой.

– Сморите! Сморгите на него! Ведь оно больше никогда таким не будет. Оно завтра уже будет другим. Надо на него смотреть. Может, я больше этого не увижу. Могу не дожить до будущей весны».

Долго находиться на одном месте Олеша не любил, и вскоре собеседники оказались довольно далеко от места встречи:

– Мы стояли на Москворецком мосту. Юрий Карлович привёл меня сюда, чтобы показать место, с которого лучше всего смотреть на Кремль.

Полюбовались древней цитаделью власти и двинулись дальше. Обошли Красную площадь. Говорили о литературе.

Олеша в это время работал над книгой «Слова, слова, слова...». Гладкову это название не нравилось, и он решился указать Юрию Карловичу на интонацию скептицизма, звучащую в этой фразе. Олеша энергично запротестовал. Он заявил, что слышит эту фразу иначе, что в ней для него – величайшее уважение к «словам», что для Гамлета, как и для поэта, «слова» – самое дорогое. И что книга его будет как раз о том, как дорого стоят слова.

– Как я постарел! – сетовал писатель. – Как страшно я постарел за эти последние несколько месяцев! Что со мной будет? Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она – только одна, что она короткая, но она родилась не в творческих, а в физических муках.

Целью последней книги Олеша ставил воссоздание своей жизни, но не в её хронологической и событийной последовательности.

– Хочется до безумия восстановить её чувственно, – говорил он. – То есть запечатлеть восприятие жизни не разумом, а чувствами, во всех оттенках и нюансах человеческих эмоций.

Олеша не был уверен, что закончит книгу: мешала работа над сценарием по повести «Три толстяка», принёсшей ему славу. Гладков советовал отказаться от сценария, Юрий Карлович не соглашался:

– Ничего не поделаешь, я уже взял аванс. Нужно писать. Да. Так надо!.. Так надо!.. – и бодрился: – Нет, всё будет хорошо. Правда? Я так думаю... Всё будет хорошо! Да?

...Свою последнюю книгу Олеша закончил. Вышла она под названием «Ни дня без строчки». Её издания Юрий Карлович не дождался. Его собеседнику повезло больше: и читал книгу, и писал о ней. Вот эти вдохновенные строки: «Истинный, а не внешний сюжет книги – это история восстановления разбитого на мелкие осколки того мира художественных впечатлений, наблюдений, образов и красок, который, в сущности, и есть единственное достояние каждого художника. Это книга собирания потерявшей себя души поэта».

**Звонок с Лаврушинского.** Неутомимый и страстный исследователь творчества М. Ю. Лермонтова И. Л. Андроников готовился к 150-летней годовщине со дня рождения великого поэта. Зная о том, что все мысли Ираклия Луарсабовича на данный момент настроены на юбилейные торжества, великая шутница, детская писательница Агния Барто, решила разыграть его. Позвонив Андроникову на дом, она старушечьим голосом начала свою игру:

– Извините, пожалуйста, за беспокойство... Я... старая пенсионерка... Не можете ли вы помочь мне... улучшить мое жилищное положение. В связи с юбилеем... Михаила Юрьевича Лермонтова... Я его родственница.

– Родственница? – воскликнул Андроников. – По какой линии?

– По линии тёти.

– А какое колено?

– Четвёртое, – говорит Барто наугад.

– Вы не ошибаетесь?

– У меня есть доказательства.

– Скажите, а нет ли у вас писем Лермонтова?

– Письма есть, – медленно тянет слова «родственница» поэта, – маленькая стопочка и стихи там небольшие... В сундуке.

– Разрешите, я сейчас к вам приеду? – взволнованно говорит Андроников.

– Сейчас поздно... десятый час... Мы с сестрой рано ложимся, сестра ещё старше меня.

– Тогда завтра с утра я у вас буду.

– Знаете... нас с сестрой завтра утром повезут в баню. Вы после двух, пожалуйста.

– Спасибо, буду после двух, – нехотя соглашается Андроников. – Только до моего прихода вы никому не звоните.

– Зачем же? – успокаивает его Агния Львовна. – Запишите адрес: Лаврушинский переулок, 17.

В ажитации от небывалой удачи Ираклий Луарсабович не отреагировал на названный ему адрес и спросил, как имя-отчество звонящей. Барто назвала себя. Последовала длительная пауза, а затем:

– Это жестоко!

Но через мгновение уже смех и оценка розыгрыша:

– Как я попался! Нет, это грандиозно!



*А. Барто*

По мнению Барто, хорошо знавшей Андроникова, он был проницательным и далеко не наивным человеком, но в то же время доверчивым. Агния Львовна не раз вводила его в заблуж-

дение и даже завела «летопись» розыгрышей. Об успехах Барто на этом поприще прослышали даже за рубежом. Как-то в Париже на заседании Международного жюри незнакомый француз сказал ей:

– Мы всё про вас знаем! Вы пишете стихи, ищете по радио детей и родных, разлучённых войной, и разыгрываете Ираклия Андроникова.

**Последние встречи.** Писательница Н. И. Ильина за одиннадцать лет своего знакомства с А. А. Ахматовой довольно часто встречалась с ней. Однажды Анна Андреевна поведала своей поклоннице о двух встречах с М. И. Цветаевой, которые произошли в июне 1941 года. Инициатива исходила от Марины Ивановны, которая дала свой телефон Б. Л. Пастернаку для передачи Ахматовой. Анна Андреевна рассказывала:

«Звоню. Прошу позвать ее. Слышу „Да“.

– Говорит Ахматова.

– Слушаю.

Я удивилась. Ведь она же хотела меня видеть? Но говорю:

– Как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придёте?

– Лучше я к вам приду.

– Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться.

– А нормальный человек сможет объяснить ненормальному?

Пришла на другой день в двенадцать дня, а ушла в час ночи. Сидели в этой маленькой комнате. Сердобольные Ардовы нам еду какую-то присылали. О чём говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чём люди говорили, не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня:

– Как вы могли написать: „Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар...“? Разве вы не знаете, что в стихах всё сбывается?

– А как вы могли написать поэму „Молодец“? – возразила Анна Андреевна.

– Но ведь это я не о себе!

– А разве вы не знаете, что в стихах – всё о себе?

На другой день в семь утра (Цветаева вставала по парижской привычке рано) позвонила по телефону, что снова хочет меня видеть. В тот вечер я была занята, собиралась к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марьину рощу. Марина сказала:

– Я приеду туда.

Пришла. Подарила „Поэму воздуха“, которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли от Харджиева вместе. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах. Только в трамвае. Или уж пешком.

Я шла в Театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Ольшевская<sup>16</sup>. Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина».

К рассказу Ахматовой надо, по-видимому, добавить, что в первый день встречи с Мариной Ивановной они не только разговаривали тринадцать часов.

---

<sup>16</sup> Н. Ольшевская – жена писателя В. Е. Ардова.

За эти часы Цветаева прочитала ей и Ардовым «Повесть о Сонечке» и ряд стихотворений. Наверняка проходил обмен мнений об услышанном. Неслучайно же ночью Марина Ивановна переписывала для Ахматовой другую свою поэму.

...Две встречи великих поэтесс случились ровно за две недели до начала Великой Отечественной войны. А ровно через семьдесят дней после этой роковой даты Цветаева ушла из жизни. В «Комаровских набросках» Ахматова помянула свою собеседницу:

И отступилась я здесь от всего,  
От земного всякого блага.  
Духом, хранителем «места сего»  
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,  
Жить – это только привычка.  
Чудится мне на воздушных путях  
Двух голосов перекличка.

Двух? А ещё у восточной стены,  
В зарослях крепкой малины,  
Тёмная, свежая ветвь бузины...  
Это – письмо от Марины.

**Сквер Лаврентия Павловича.** Когда Анна Андреевна Ахматова бывала в Москве, она останавливалась на Большой Ордынке, 17, у Ардовых. Из окна комнаты, где жила поэтесса, был виден крест колокольни церкви Климента Папы Римского.

Этот дом нравился Ахматовой своей суетой, криками, телефонными звонками, остромами и детскими пелёнками. Анна Андреевна любила вечную толчею в доме и называла скопище его гостей «станцией Ахматовой».

Сюда приходили многие. В числе нередких посетителей дома бывала и Фаина Георгиевна Раневская. Отношения между женщинами были довольно близкими. Нередко они секретничали. Современник вспоминал:

– Анна Андреевна рассказывала домашним, что, когда она хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушивает КГБ. И они называли этот скверик «Сквер Лаврентия Павловича».

**Тоже гений.** Священник М. В. Ардов, вспоминая свое детство, писал: «Я иду замоскворецким переулком, а навстречу мне движется величественная и несколько отстранённая от уличной суеты фигура. Это Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли.

– Здравствуйте, Борис Леонидович.

– А-а-а, – он некоторое время узнаёт меня, как бы спускается с неба на землю. – А-а-а... Здравствуйте, здравствуйте... Что дома? Как Анна Андреевна? Как мама? Кланяйтесь, кланяйтесь им от меня!»

Гуляя по переулкам Замоскворечья, Пастернак нередко навещался к Ардовым. Там часто и подолгу останавливалась А. А. Ахматова. О своих визитах поэт обычно договаривался с ней заранее: «В столовой раздаётся телефонный звонок, и я (М. Ардов) слышу голос Пастернака:

– Анна Андреевна думает, что я приду через сорок минут, а я приду через сорок пять...»

Однажды он позвонил на другой день и сказал:

– Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотам Виктора Ефимовича.

В. Е. Ардов был известным фельетонистом и величайшим рассказчиком. Как-то прочитав одну из его книг, Пастернак с некоторой долей укоризны заметил:

– Вы знаете, мне очень понравилось. Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе.

Сын В. Е. Ардова упивался разговорами блестящего окружения отца, кое-что записывал для памяти: «Как-то после очередного звонка<sup>17</sup> мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах XX века. Она вдруг указала мне рукой на телефон и произнесла:

– Этот сумасшедший старик тоже гений».

Беседы с Ахматовой были для Пастернака некой отдушиной. Поэтому визиты на Ордынку, 17, часто бывали спонтанными.

«Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нём бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому, но Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объясняла:

– Всё очень просто. Он не говорит жене, что идёт сюда, а объявляет, что хочет пройтись».

Ахматова хорошо знала не только творчество своего великого современника, но и его жизнь. В своих поездках по Москве указывала Михаилу Ардову на дома, связанные с Борисом Леонидовичем. Самым пастернаковским местом в столице считался ВХУТЕМАС (Мясницкая, 21). И однажды, кивнув в сторону статуи А. С. Грибоедова за станцией метро «Тургеневская», сказала:

– Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку.

**Она мне читает!** Лето 1955 года Анна Андреевна провела в столице. В день своего рождения (23 июня) посетила А. А. Реформатского и его молодую супругу Н. И. Ильину. Александр Александрович был крупным лингвистом и, как знаток малейших нюансов русского языка, очень интересовал Ахматову. Супруга учёного была страстной поклонницей поэтессы и при всякой возможности старалась держаться рядом, о чём и поведала в воспоминаниях «Дороги и судьбы».

«Я часто видела Ахматову, однако всё ещё ощущала скованность в её присутствии. Помню тёплый летний вечер, мы с ней сидели в сквере на Ордынке, куда Анна Андреевна ходила иногда подышать воздухом, больше молчали, чем говорили. Затем я проводила Ахматову до дверей её квартиры. Хотела проститься.

– Зайдите, посидите со мной немного, – предложила Анна Андреевна.

В квартире тихо, кажется, кроме домработницы, нам отворившей, дома не было никого. В своей похожей на шкаф комнатухе Ахматова села не на кровать, как обычно, а к столу. Я – на стул около. Она надела очки, положила перед собой какие-то листочки. „Я вам сейчас читаю“. И стала читать вступление к „Поэме без героя“:

Из года сорокового,  
Как с башни, на всё гляжу.  
Как будто прощаюсь снова

---

<sup>17</sup> Б. Л. Пастернака.

С тем, с чем давно простилась,  
Как будто перекрестилась  
И под тёмные своды схожу.

Впервые я слышала те мерные, торжественные интонации, с которыми Ахматова читала стихи. И строки эти слышала впервые. Я глядела на её прекрасный профиль, на крупную седую голову, радовалась, даже тщеславилась (она мне читает!), но плохо воспринимала то, что слушала. Это позже я оценила „Поэму без героя“, а тогда мне, видимо, мешали суетные, отвлекавшие меня мысли...»

**На Ордынку.** Как-то в феврале 1957 года А. А. Ахматова гостила у одной из своих почитательниц – Н. И. Ильиной. Наталья Иосифовна жила тогда на улице Щусева (теперь это Б. Лёвшинский переулок). Встреча с великой поэтессой была обговорена заранее, и к Ильиной пришла ещё её подруга – Т. С. Айзенман.

Погода в тот день не радовала, но за стенами старого дома было тепло и уютно. В застолье разговорились. Анна Андреевна читала свои стихи:

... А не ставший моей могилой,  
Ты, крамольный, опасный, милый,  
Побледнел, помертвел, затих.  
Разлучение наше мнимо:  
Я с тобою неразлучима,  
Тень моя на стенах твоих,  
Отраженье моё в каналах,  
Звук шагов в Эрмитажных залах,  
Где со мною мой друг бродил,  
И на старом Волковом поле,  
Где могу я рыдать на воле  
Над безмолвием братских могил.



*А. А. Ахматова*

Ахматова любила родной город и, когда оставляла его на время, часто вспоминала его и говорила о нём.

Читались и другие стихи – старые и новые. Шли разговоры-воспоминания, быстро летело время. Гостья спохватилась в полночь. Попытались вызвать такси, но телефон всё время был занят. Тогда хозяйка дома предложила пройти на Зубовскую площадь, где была стоянка машин.

Пошли. На улице метель, ветер в лицо, слепит снег. Анна Андреевна начала задыхаться. С трудом дошла до Садового кольца. Видя это, Ильина оставила её с Айзенман у придорожного столба и побежала на противоположную сторону площади. На стоянке была большая очередь. Что делать? Наталья Иосифовна была в отчаянии. «Вот подошла машина, кто-то сел, но ожидающих меньше не стало, надо уходить, чудес не бывает.

Но оказалось, что чудеса бывают! Прямо на меня надвигались трое: мужчина в распахнутом пальто, в сдвинутой на затылок шапке и двое военных – фуражки, шинели. Ветер, метель, у всех подняты воротники, а этот распахнут, этому не холодно, он выпил, ему чудесно, продолжить бы веселье, не спать же заваливаться! Он приблизился, и я узнала его... Не буду называть его имени, скажу лишь, что это был один известный деятель искусств. Я видела его фотографии в газетах, и кто-то когда-то где-то показал мне его. Я-то его, в общем, узнала. Он же меня, разумеется, знать не мог.

Он видел женщину, одиноко стоящую в сторонке, чего-то ждущую. Не его ли она ждала? „А что, – сказал он, – если бы нам где-нибудь посидеть поужинать?“ Я ответила: „Почему же? С удовольствием“. Он тут же обернулся к сопровождавшим его лицам, деликатно стоявшим поодаль, сделал знак, и оба они кинулись куда-то, и я поняла: за такси. Кидаться им далеко не пришлось, машина шла, очередь затрепетала, но военные успели перехватить машину, на ходу открыв дверцу, вскочив внутрь... И вот, описав петлю вокруг очереди, машина останавливается около нас, военные выходят, держат дверцу... Глухой ропот, отдельные негодующие восклицания доносились справа, из очереди, всё понявшей, очень возмущённой, но за права свои бороться не осмеливающейся... Я сажусь первая, мой спутник ныряет следом, военные, прощаясь, берут под козырёк, шофёр спрашивает: „Куда?“ Я быстро: „В центр!“ Военные исчезают, очередь тоже, автомобиль наш выезжает на Садовую, разворачивается, слегка буксует на снегу».

– Так куда же мы? – повторил вопрос шофёра неожиданный спутник Ильиной.

– Видите ли... – начала Ильина и назвала говорившего по имени и отчеству.

От неожиданности тот отшатнулся.

– Вы меня знаете?

– Ну кто ж вас не знает? Так вот. Надо отвезти на Ордынку одну даму... Шофёр, медленнее! Остановитесь вон там, у столба справа, видите?

Сквозь завесу снега проступали очертания двух фигур – высокой, замотанной платком, и маленькой.

– Даму? – сердито-удивлённо спрашивал тем временем попутчик. – Какую даму?

– Ахматову.

– Что? Ту самую?

– Ту самую, – подтвердила Наталья Иосифовна и попросила шофёра остановить машину.

Вышли из машины, и Ильина представила своего спутника Анне Андреевне. Сдавленно ахнула Таня Айзенман, а лицо Анны Андреевны совсем спокойно и слегка надменно, как всегда в присутствии посторонних. И будто не удивило её ни капли, что я, исчезнув в поисках машины, вынырнула из метели в сопровождении известного деятеля искусств... Она произнесла: «Здравствуйте!» – и хорошо мне знакомым, полным величия жестом протянула руку в старой чёрной перчатке. А тот, кому протянули руку, склонился над ней почтительно. Он уже был другой. Не бонвиван в распахнутом пальто, которому сам чёрт не брат, а человек, у которого из-под ног выбита почва: растерянный, не знающий, как ему вести себя, и от изумления совершенно отрезвевший...

«Наспех простившись, Таня Айзенман пошла к себе, а мы сели в машину: Анна Андреевна и я – сзади, а тот, кто ехал с нами, – к шофёру. Я откинулась на спинку сиденья, облегчённо закурила, мне было весело. Анна Андреевна сидела выпрямившись. Наш благодетель обернулся. Он опомнился, он составил план действий: надо развлекать Ахматову разговором. О чём бы ей интересно? О Париже, разумеется. Недавно он там был. Ещё раз убедился в любви к нам простых французов. Анна Андреевна время от времени произносила: „Да, да“. Я молчала гробом. Мне что? Мне главное, чтобы её до места доставили, её доставят, всё прекрасно... Тема о Париже исчерпана. Благодетель мучительно ищет новую тему, нашёл, обернулся: „А

у меня на даче до чего хорошо, благодать!“ – „Да, да“. – „Вы как-нибудь непременно приезжайте!“ Молчание. Пауза. Он добавил – уже, видно, от отчаяния:

– Я вам рыбалку организую!

– Благодарю вас.

Наступило прочное молчание. И вот приехали. Во двор въехать нельзя – идёт какой-то очередной ремонт. Тусклый фонарь освещает сваленные доски, трубы, строительный мусор. Направо под арку, в подъезд Ардовых, не войдёшь, надо идти кружным путём, через дополнительный двор. Двинулись. Анна Андреевна оперлась на предложенную ей нашим спутником руку. Они впереди, я за ними. Я жалела, что одна наслаждаюсь неопишущим зрелищем этого захламливаемого двора и медленно, величественно ступающей Ахматовой в её невероятной, с облезлым воротником шубе (каждую осень разговоры, что надо бы новую!) и богато одетого (тёмно-серое зимнее пальто, меховая шапка), почтительно рядом семенящего нового нашего знакомого...»

**Угощение.** Известный советский драматург Л. Г. Зорин был автором около полусотни пьес, которые пользовались неизменным успехом у зрителей; высокий авторитет имел Леонид Генрихович и в театральной среде. Об обсуждении одной из своих пьес он говорил:

– Всё способствовало тому, что пьесу приняли с энтузиазмом. Всем хотелось, чтобы она понравилась. Ощущая общую атмосферу, я читал с подъёмом и настроением и удостоился дружеских похвал. Тон задавала увлечённая речь Нины Антоновны.

Обсуждалась пьеса «Увидеть вовремя». Происходило это в Центральном театре Советской Армии. Вела обсуждение режиссёр Н. А. Ольшевская, бывшая актриса, с благородной и стильной внешностью. Она симпатизировала Зорину, всегда хвалила его сочинения, а о последнем сказала:

– Зорин делает громадное дело.

Как-то спросила его:

– У вас нет желания к нам прийти? Мне бы хотелось вас познакомиться с Анной Андреевной Ахматовой. Я ей рассказывала о вас.

Леонид Генрихович ответил, что придёт с удовольствием, и обещал позвонить, чтобы конкретно обговорить день и час визита.

Нина Антоновна была женой писателя-юмориста В. Е. Ардова. И так случилось, что вскоре после разговора с Ольшевской драматург встретился на углу Ордынки и Климентовского переулка с Виктором Ефимовичем.

– Ну, как вы живёте? – поинтересовался Ардов. – Все пьесы пишете?

Виктор Ефимович был уже в солидных годах, в его чёрной бороде светились белые пряди, восточные глазки искрились смехом. Красавец и остроумец, своей манерой общения, всем своим существом он контрастировал со своей сдержанной и строгой супругой. Он с ходу рассказал анекдот, а когда Зорин отсмеялся, заметил:

– В молодости и я писал. Захватывающее занятие, но опасное. Ушёл на эстраду. В конце концов, надёжное дело. Всегда имею свой бутерброд. Ну, теперь-то я уже старый пудель. «Искусству нужен Витя Ардов, как попе – пара бакенбардов».

В этой жёсткой самооценке Леонид Генрихович почувствовал печаль заката большого таланта и не нашёл слов, чтобы возразить собеседнику или поддержать его.

Помолчали. Прервав неловкую паузу, Виктор Ефимович спросил:

– Не придёте ли к нам? Примем в традициях Замоскворечья. У нас – Ахматова. Угостим старушкой.

Зорин не соблазнился «угощением», о чём потом не раз пожалел:

– Ардов был прелестнейший человек, добрый, сердечный, самоотверженный, полный благожелательства к людям, но я не поддержал разговора. Да и Нине Антоновне не позвонил.

А ведь хотел! И нравились ему эти люди, а вот что-то внутреннее, необъяснимое удержало от сближения с ними...

**Я человек военный.** Сегодня, когда каждый мало-мальски богатый и знатный человек отделён от окружающих стеной низколобых молодчиков, трудно себе представить, что не так уж и давно по улицам города свободно расхаживали люди, которые были не чета не только новым русским, но и новым правителям многострадальной России. Можете вы себе вообразить, например, встречу с не единожды Героем Советского Союза? А ведь такое бывало. И отнюдь нередко. Об одном таком случае рассказал известный советский дипломат О. А. Трояновский.

В 1955 году Олег Александрович участвовал в Женевской конференции глав государств и правительств четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции. Советская делегация состояла из председателя Совета Министров Н. А. Булганина, первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва, министра иностранных дел В. И. Молотова, министра обороны маршала Г. К. Жукова и первого заместителя министра иностранных дел А. А. Громыко.

Жуков никак не вписывался в оговорённый круг участников конференции: не глава государства, не глава правительства. Но именно на него возлагались основные надежды советской стороны, о которых государственный секретарь США Аллен Даллес говорил, что маршал приедет в Женеву с целью «размягчить» своего бывшего соратника по оружию Д. Эйзенхауэра.

– При первой встрече в зале заседаний Дворца наций, – вспоминал Трояновский, – президент, который прибыл последним из глав делегаций, тепло приветствовал маршала, дав понять, что у него сохранились чувства уважения и дружбы к человеку, чей полководческий талант и силу воли он высоко ценил. Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Хэггерти характеризовал то, что произошло, как «весьма восторженную встречу». Свой вклад в её теплоту постарался внести и Хрущёв, который подошёл к президенту и сказал: «Господин президент, я хочу посвятить вас в семейные секреты Жукова. Его дочь выходит замуж на этой неделе, и ему следовало бы быть в Москве на свадьбе, но он так хотел встретиться с вами, что приехал сюда».

Георгий Константинович, конечно, был не против встречи с недавним союзником по антигитлеровской коалиции, но отлично понимал мотивы, по которым оказался в составе делегации, и это смущало его. Понимала это и американская сторона. Поэтому надежды, которые связывались с миссией маршала, не оправдались.

Во время бесед Жукова и Эйзенхауэра Трояновский исполнял обязанности переводчика, и маршал хорошо запомнил его. После конференции в Женеве Олег Александрович ещё дважды встречался с Георгием Константиновичем, и оба раза случайно. Первый – на большом приеме в Кремле по случаю 20-й годовщины победы над Германией. Второй – у кинотеатра «Ударник».

Был фестиваль американских фильмов. Трояновский с женой пошёл на просмотр известной киноленты «Мост через реку Квай». При выходе из кинотеатра супруги оказались рядом с Жуковым. Олег Александрович поинтересовался, понравился ли маршалу фильм. Георгий Константинович признался, что не очень:

– Этот фильм слишком пацифистский для меня, мне что-нибудь со стрельбой вроде «Пушки Навароне». Я – человек военный, другое дело – вы.

Упомянутый Жуковым фильм тоже демонстрировался на фестивале. То есть посещение им кинотеатра было неслучайным. Случайной оказалась эта встреча с переводчиком и бывшим помощником Н. С. Хрущёва. Но в это мгновение прославленный полководец, униженный и обесчещенный в собственной стране, невольно вспомнил давние дни торжества и славы советского оружия. Дни, когда в четвёрке победителей ему бесспорно отдавалась пальма первенства.

## Московские кольца Тверской бульвар, Никитский и другие бульвары, Садовые улицы

### Тверской бульвар

Это старейший бульвар Москвы. Его возникновение относится к 1796 году. В появлении бульвара некоторые современники усмотрели не рядовое событие по благоустройству города, а факт общественного значения. «Знаете ли, что и самый московский бульвар, каков он ни есть, доказывает успехи нашего вкуса? – писал Н. М. Карамзин. – Вы можете засмеяться, государи мои, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гулябищам, о которых, например, не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки. Где граждане любят собираться ежедневно в приятной свободе и смеси разных состояний; где знатные не стыдятся гулять вместе с незнатными и где одни не мешают другим наслаждаться ясным летним вечером, там уже есть между людьми то счастливое сближение в духе, которое бывает следствием утончённого гражданского образования».

В переводе с французского слово «бульвар» означает «крепостная стена». Тверской бульвар возник на месте стены Белого города, построенной в 1586–1593 годах и просуществовавшей почти два столетия. На бульваре ещё растёт дуб (напротив дома 16), которому, как считают специалисты, около 250 лет. Он был посажен здесь, когда стены Белого города были разрушены, но ещё существовали в виде хаотического нагромождения камней.

Тверской бульвар быстро стал достопримечательностью города. Он пользовался чуть ли не такой же известностью, как Кремль. Неслучайно в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина они упоминаются рядом, в одной строке:

Он слышит на больших обедах  
Рассказы отставных бояр,  
Он видит Кремль, Тверской бульвар...

Вслед за первым бульваром появились одиннадцать следующих, составивших Бульварное кольцо. В одном из альманахов 1829 года читаем о них: «Устроение бульваров есть счастливая выдумка; ибо это придало неимоверную красоту древней нашей столице».

Довольно долгое время Тверской бульвар являлся местом встреч и времяпрепровождения в основном представителей имущих и интеллигенции. С конца XIX столетия положение изменилось. Леонид Андреев, бывший тогда корреспондентом газеты «Курьер», писал в фельетоне «Московское лето наступает»: «Своеобразная эта толпа – московская бульварная публика. Словно по обязанности, мерно движется она с одного конца бульвара в другой под глухие рыкающие звуки оркестра, заглушаемые громом уличной езды. Лица утомлённые, невесёлые; говорят, смеются, но без радости. Это всё каторжники городской жизни. Как крепко прикованные к своей тачке, они обречены гулять всё лето в одном узком отмежёванном для них пространстве бульвара, и они гуляют, гуляют...»

Невозможно перечислить всех, кто бывал на Тверском бульваре, ибо имя им легион. Каждый из известных людей (поэтов, писателей, артистов, художников, учёных), конечно, по-своему воспринимал этот зелёный уголок Москвы, но никто из них не остался к нему равнодушным. Наш современник писатель В. Б. Муравьев посвятил Тверскому проникновенные строки: «Сильны власть и очарование Тверского бульвара. Он красив летом, когда кроны лип смы-

каются над головой, и пробивающийся сквозь листву солнечный луч, переливаясь, играет на дорожке. Прекрасен зимой, когда тёмные стволы и ветви сплетаются на фоне снега и неба в причудливый узор. Он чудесен утром и днем, звенящий детскими голосами, праздничен к вечеру, окутанный ласковой истомой клонящегося на закат солнца, таинственен ночью в свете фонарей. А ещё он пробуждает воспоминания».

Да, бульвар напоминает о многом, навевает воспоминания и мысли о тех, кто когда-то проходил по его аллеям, стоял под кронами деревьев, вслушиваясь в шорох ветвей старого дуба, так много повидавшего на своем веку.

**Французы на бульваре.** Московский барин Иван Алексеевич Яковлев готовился оставить Москву. Делать ему этого не хотелось, и он каждый день откладывал свой отъезд. Но 2 сентября наконец решился.

В десятом часу утра Иван Алексеевич распорядился закладывать лошадей и, потолкавшись немного среди многочисленной дворни, пошёл обедать. За столом спросил воды. Её не было. Раздражённому барину сказали, что дворник уехал по воду давно, но почему-то ещё не вернулся.

Семейство Ивана Алексеевича ещё не успело встать из-за стола, как вошёл камердинер и осипшим голосом доложил, что дворник вернулся без лошади и бочки – отобрали французы. Известие это было встречено гробовым молчанием. И именно в это мгновение на улице послышался цокот копыт, который всё нарастал и приближался. Все бросились к окнам, выходящим на Тверской бульвар. По булыжной мостовой скакали французские драгуны, над их касками развевались конские хвосты.

Боясь за грудного ребенка (будущего революционного демократа А. И. Герцена), Яковлев отослал семью к княгине Анне Борисовне Мещерской, сестре покойной матери. Та жила почти в начале бульвара, на месте современного Театра на Малой Бронной. Няня Герцена Вера Артамоновна рассказывала:

– Сначала ещё шло кое-как, первые дни, то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; поднесём им по рюмочке, как следует, они и уйдут, да ещё сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, всё больше и больше, сделалась такая неурядица, грабёж пошёл и всякие ужасы.

Яковлевы занимали у княгини деревянный флигель. Когда он загорелся, муж одной из сестер Ивана Алексеевича, Павел Иванович Голохвостов, предложил перебраться в его дом. При выходе с М. Бронной на Тверской бульвар это было второе здание по нечётной стороне (от дома княгини его отделял только сад). Дом был кирпичный, стоял в глубине квартала, и Голохвостов был уверен, что огонь его не захватит.

– Пошли мы, – вспоминала Вера Артамоновна, – и господа, и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж деревья начинают гореть. Добрались мы наконец до голохвостовского дома, а он так и пылает, огонь из всех окон. Павел Иванович остоленел, глазам не верит.

Спасаясь от огня, Яковлевы и их дворня бросились в сад Голохвостова. Но туда вскоре ввалилась ватага пьяных солдат. Начался грабёж погорельцев. Дошло до того, что вырвали из рук кормилицы пятимесячного Герцена и стали рыться в пелёнках в поисках денег и драгоценностей. Поистине, солдатня выкинула из пелён жемчужину, даже и не заметив этого. А великий революционер и замечательный русский писатель с удовольствием вспоминал этот случай из своего младенчества:

– Я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне, – с ностальгической иронией писал Александр Иванович в воспоминаниях «Былое и думы».

**Туз идёт!** Во время своих наездов в Москву А. С. Пушкин обязательно посещал Тверской бульвар. В марте 1827 года А. Я. Булгаков, чиновник для особых поручений при московском генерал-губернаторе, писал брату: «Мороз, и снегу более теперь, нежели когда-либо, а дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке; но правда и то, что пылкое воображение стоит шубы».

Возможно, в этот же день молодой писатель и будущий академик С. П. Шевырёв наблюдал на бульваре интересную сцену:

– В субботу на Тверском я в первый раз увидел Пушкина. Он туда пришёл с Корсаковым. Сел с несколькими знакомыми на скамейку и, когда мимо проходили советники Гражданской палаты Зубков и Данзас, он подбежал к первому и сказал: «Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу». Зубков поцеловал его.



*А. С. Пушкин*

Б. К. Данзас – брат лицейского товарища Пушкина. В. П. Зубков – советник Московской палаты гражданского суда. Знакомство поэта с Василием Петровичем состоялось после его возвращения из ссылки в Михайловском. Поводом для этого стало увлечение поэты своей

дальней родственницей С. Ф. Пушкиной. «Я вижу раз её в ложе, в другой на бале, в третий сватаюсь», – признавался поэт.

Софья, двадцатилетняя красавица, стройная, с прекрасным греческим профилем и чёрными как смоль глазами, была свояченицей Зубкова. Конечно, она пользовалась успехом. Один из почитателей Софьи, поэт Фёдор Туманский, посвятил ей следующее стихотворение:

Она черкешенка собою  
Горит агат в её очах,  
И кудри чёрные волною  
На белых лоснятся плечах.

Любезна в ласковых приветях,  
Она пленяет простотой  
И живостью в своих ответах,  
И милой резвой остротой.

В чертах лица её восточных  
Нет красоты – видна душа  
Сквозь пламень взоров непорочных  
Она как радость хороша.

Большому ревнивцу Пушкину стихи эти не понравились, и он написал «Ответ Ф. Т.»:

Нет, не черкешенка она;  
Но в доли Грузии от века  
Такая дева не сошла  
С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней,  
Но все сокровища Востока  
Не стоят сладостных лучей  
Её полуденного ока.

Зубков представил Александра Сергеевича Софье, и поэт не замедлил объясниться с ней. Это признание было встречено кокетливым приглашением явиться в начале зимы.

Пушкин уехал в Михайловское, где было время подумать о возможной женитьбе и связанных с этим материальных докуках. 1 декабря он писал своему невольному свату: «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость!

Не моё личное счастье заботит меня, могу ли я возле неё не быть счастливейшим из людей, – но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, её ожидает – содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать её столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. – Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?

Бог мой, как она хороша! и как смешно было моё поведение с ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на неё произвести, – скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу... Объясни ей, что, увидав её хоть раз, уже нельзя колебаться, что

у меня не может быть притязаний увлечь её, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив её, невозможно любить её ещё больше, как невозможно с течением времени найти её ещё более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно».

Увы, коварная красавица не случайно уклонилась от ответа поэту до начала зимы – ждала чего-то другого. Это следует из сообщения Н. А. Мухановой сыну от 8 декабря: «Новости здешние – интересные свадьбы Офросимова Андрея на Катерине Корсаковой и малютке Панина на крошке Пушкиной».

Словом, матримониальные намерения поэта не осуществились осенью 1826 года, но это не разрушило зародившейся дружбы с В. П. Зубковым, ибо она основывалась на духовных началах – Василий Петрович был членом «Общества Семисторонней, или Семиугольной, звезды» и привлекался к следствию по делу декабристов. И неслучайно именно в его доме (Малая Никитская, 12, правый флигель) Пушкин написал свои знаменитые «Стансы», в которых призывал царя к милосердию и облегчению участи декабристов, упрятанных Николаем I «во глубине сибирских руд»:

В надежде славы и добра  
Гляжу вперёд я без боязни...

...С Тверским бульваром связана первая встреча Пушкина с будущей супругой. Случилось это зимой 1828/29 годов в особняке Кологривовых (сейчас на его месте находится новое здание МХАТа). В нём известный танцмейстер П. А. Иогель устраивал платные балы и обучал танцам детей. Сюда ездила лучшая московская публика, на балах было весело, на них царила чистая и целомудренная атмосфера.

– Всё было чинно и благопристойно, да никто не решился бы на грязный поступок, чтобы не оскорбить хозяина и всё общество и не потерять доброго мнения, – свидетельствует современник.

О встрече Натальи Николаевны с поэтом мы узнаём из рассказа А. П. Араповой, дочери Гончаровой от её второго брака:

– Наталье Николаевне только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились с Пушкиным на балу в Москве. В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поразила всех своей классической, царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от неё глаз. Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности. При первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущие гению, не то что сконфузили, а как-то придавили её. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врождённая скромность только возвысила её в глазах поэта.

С именем Пушкина связаны и два соседних дома (№№ 24 и 26). Эти изящные ампирные здания были в 1820-х годах одним владением. В путеводителе «По Москве» (1917) о них говорилось: «По левой стороне бульвара, до самого дома градоначальства, тянутся невысокие строения, по большей части уцелевшие от пожара 1812 года и дающие представление о небольших дворянских домах этой эпохи. С архитектурной точки зрения некоторые из них недурны».

В пушкинское время эти дома принадлежали И. Н. Римскому-Корсакову, ответственному вельможе и богачу. Современник, князь И. М. Долгоруков, говорил о нём:

«– Тщеславный богач, не одарённый ничем от природы и обязанный одной слепой фортуне, пригожему лицу и юности – минутным блеском своим у трона».

Будучи фаворитом Екатерины II, Римский-Корсаков позволял себе романы на стороне, за что и был изгнан из Петербурга. Пушкин неоднократно посещал опального вельможу, допы-

тиваясь от него о времени Екатерины, которое очень интересовало его. В заметках об истории России XVIII века он писал:

«Со временем история оценит влияние её (Екатерины II) царствования на нравы, откроет жестокую деятельность её деспотизма под личиной кротости и терпимости, покажет важные ошибки её в политической экономии, ничтожество в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами её столетия – и тогда голос обольщённого Вольтера не избавит её славной памяти от проклятия России.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. От канцлера до последнего протоколиста всё кралось и всё было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и своё государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливое, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, а Тайная канцелярия процветала под её патриархальным правлением. Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешёл из рук Шешковского в темницу. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность».

Конечно, Пушкин хорошо знал историю XVIII века, Римский-Корсаков интересовал его как живой свидетель этого времени, сохранивший в памяти многие бытовые подробности его, некоторые из которых Александр Сергеевич использовал в последней главе «Капитанской дочки».

Словом, Тверской бульвар был для Пушкина не столько местом отдохновения, сколько своеобразным клубом, источником дополнительной информации и нетривиальных впечатлений. Здесь он был своим. В этом плане характерен следующий случай. Как-то Александр Сергеевич повстречался на бульваре с одним из многочисленных знакомых. Тот предупредительно уступил ему дорогу, громко воскликнув:

– Прочь, шестёрка! Туз идёт!

– Козырная шестёрка и туза бьёт, – скромно заметил поэт.

**Выбор.** Поэта Марину Цветаеву создавала русская литература. С младенческих лет в её сознание вошёл А. С. Пушкин и на первых порах – не столько творчеством, сколько своей персонализацией в виде памятника Опекушина. В очерке, посвящённом великому поэту, Марина Ивановна писала:

«Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорее добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: „А у Пушкина – посидим“ – чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: „Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина“.

Памятник Пушкина был моя первая пространственная мера: от Никитских ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста „Бесов“, верста „Зимней дороги“, верста всей пушкинской жизни наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая.

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатъев, – кстати, стоявший так

же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был один из двух ежедневных прогулок – на Патриаршие пруды – или к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину удавочную „кофточку“, к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость, Асину<sup>18</sup> невесомость и собственную толстоватость – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уже лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с чёрным и белым: такой чёрный! такая белая! – и так как чёрный был явлен гигантом, а белый комической фигурой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала чёрного, а не белого, чёрное, а не белое: чёрную думу, чёрную долю, чёрную жизнь».

---

<sup>18</sup> Андрей, Ася – брат и сестра М. Цветаевой.



*М. И. Цветаева*

Как известно, из этой «выбранной» жизни Цветаева ушла через самоубийство, оставив записку с признанием: «простите – не вынесла».

...Это был конец жизни замечательной поэтессы, в которой она была самостоятельна и самоуверенна.

Но пока она находилась под защитой любящих родителей, всё благоприятствовало её развитию: сказки и рассказы матери, чтение детской литературы, обучение музыке, наблюдения за кругом общения отца, профессора и основателя Музея изящных искусств. Была даже встреча со старшим сыном Александра Сергеевича. Мимолётная, неосознанная, но тем не менее запомнившаяся:

«Позвонили, и залой прошёл господин. Из гостиной, куда он прошёл, сразу вышла мать, и мне, тихо:

– Муся! Ты видела этого господина?

– Да.

– Так это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почётный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдёт обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?

Конечно, знала, а потому сидела тихо и терпеливо ждала выхода гостя. Но он появился не один, а в сопровождении родителей, и Марина растерялась: на кого же смотреть? Но уловив гневный взгляд матери, вспомнила – на Пушкина! Вернувшаяся мать спросила:

– Ну, Муся, видела сына Пушкина?

– Видела.

– Ну, какой же он?

– У него на груди звезда.

– Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...»

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырёх лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Исполнение совета отца Марина не стала откладывать в долгий ящик:

«Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала – нянинному: рабочему оловянного завода:

– Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина.

– Что, барышня?

– У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала.

– Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли, – неопределённо отозвался Ваня».

Как в воду глядел простой рабочий: разговор шёл о создании будущего Музея изящных искусств императора Александра III.

Шёл 1896 год.

**Мимо Страстной.** Сёстры Цветаевы, Марина и Анастасия, любили поэзию. Старшая из них довольно рано преуспела на этом поприще. Первым выделил её из сонма начинающих Валерий Брюсов, к которому (как поэту) Марина относилась, мягко говоря, более чем сдержанно. Зато Анастасия благоговела перед ним. И вот:

– В один весенний день, – рассказывала она, – я ехала в трамвае по бульварному кольцу «А» с книгой стихов. На этот раз это был сборник Брюсова. Перевертывая страницу, я подняла глаза и заметила, восхищённо, с испугом: напротив меня сидел Валерий Брюсов. Перебарывая сердцебиение, я, будто глядя в книгу, а на деле – наизусть, начала вполголоса читать его стихи:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мериды,  
в царстве пламенного Ра,

Ты давно меня любила, как Озириса Изиды,  
друг, царица и сестра,  
И клонила пирамида тень на наши вечера...

Пятнадцатилетняя озорница, конечно, ещё плохо владела собой, и Брюсову явно не понравилась эта демонстративная декламация, к которой начали прислушиваться другие пассажиры. Поэту было явно не по себе, и это тешило Анастасию:

– Я и жалела его, и забавлялась. Я понимала отлично, как мой вид – девочка в очках, с волосами до плеч – полнил его недоумением. Наконец он не выдержал – встал и направился к выходу. Я встала тоже. Я уже проехала свою остановку (Страстную площадь), но ему (я знала, он живёт на Цветном бульваре) было рано выходить.

Вышли вместе. При этом Анастасия пересекла Брюсову дорогу и дерзко бросила:

– Кланяйтесь Эллису<sup>19</sup>!

Валерий Яковлевич остановился и вежливо спросил:

– От кого?

– От Аси Цветаевой.

Притронувшись к шляпе, Брюсов поклонился, а озорница уже бежала от него с чувством раскаяния:

– Сердце билось... Зачем я сделала это? Я не знала сама. Я, не заряжаясь Марининой нелюбовью к нему, так любила его стихи!

Конечно, о случившемся Анастасия рассказала сестре, и Марина откликнулась на происшедшее стихотворением «Недоумение»:

Ты, такой не робкий,  
Ты, в стихах поющий новолунье,  
И дриад, и глохнувшие тропки,  
Испугался маленькой колдуньи?

В трамвае. В 1910–1911 годах Лидия Евреинова (Иконникова) занималась в мастерской художника П. И. Келина. Там же учился В. В. Маяковский. В воспоминаниях, посвященных годам учёбы, Евреинова не раз упоминала будущего поэта. Но сближения с ним не было. Только раз они встретились вне стен мастерской. «Был август, – вспоминала Лидия Александровна. – У Страстного монастыря я села в трамвай, с трудом втиснувшись на переполненную до отказа площадку.

– Здравствуйте, Иконникова! – вдруг раздался громкий голос Маяковского. – Я узнал вас по вашему оперению (на мне была надета шляпа с двумя крылышками по бокам).

– Здравствуйте, – ответила я, отыскивая его глазами».

Трамвай проехал одну остановку. Несколько человек на ней вышли. Стало немного свободнее, и Маяковский предложил Евреиновой пройти из тамбура в салон вагона, обещая угостить грушей, которую держал в высоко поднятой руке. Пассажирам же объявил:

– Самая лучшая груша в Москве.

«Расслабленность» в поведении в начале прошлого века не приветствовалась и не понравилась Лидии; поэтому в вагон она не прошла. А Маяковский не унимался:

– Да что вы краснеете, как печёное яблоко, не стесняйтесь, у меня есть ещё одна.

Евреинова демонстративно отвернулась и стала смотреть в другую сторону. А Маяковский продолжал ёрничать:

---

<sup>19</sup> Л. Л. Эллис – знакомый Цветаевых, помощник Брюсова.

– Дядя, который в фартуке, посмотрите, что она, взаправду рассердилась или так, только притворяется?

«Дядя», стоявший за спиной девушки, судя по белому фартуку – дворник, старательно вытянул шею и заглянул Лидии в лицо, а затем под смех публики доложил:

– Шибко осерчали.

Пришлось Маяковскому есть «самые лучшие груши» в одиночестве, и отнюдь не в гордом.

**Личность без двойника.** Николай Асеев увидел его издалека. Маяковский шёл широким шагом по Тверскому бульвару. Высокий, очень приметный в толпе, в чёрной, распахнутой на груди блузе. Вот уже поэт почти рядом. Асеев мельком отметил сияние его глаз и решительно шагнул навстречу.

– Вы Маяковский?

– Да, деточка.

«Деточка» была на шесть лет старше, но это не задело Асеева. В снисходительном ответе поэта не было ни насмешки, ни барства. Низкий бархатный голос обладал добродушием и важностью тембра.

Николай представился. Сказал, что тоже пишет, читает стихи Маяковского. Удивил вопрос Владимира Владимировича, который спросил коллегу не о том, как он пишет, а «про что».

– Помню, прошагали мы с ним весь Сретенский бульвар, поднялись вверх, к тогдашним Мясницким воротам, а я всё ещё не понял Маяковского, его коротких реплик, его старшинства по праву жизненного опыта, сверходарённости, той особенной привлекательности, которой после не встречал ни у кого.

Непонимание это не помешало сближению поэтов, которые случайно встретились в 1913 году в сени Тверского бульвара. Впрочем, для сближения имела и другая причина – равнозначимость (на середину 1910-х годов), о чём свидетельствуют их великие современники. В стихотворении «Маяковский в 1913 году» Анна Ахматова писала:

Я тебя в твоей не знала славе,  
Помню только бурный твой расцвет,  
Но, быть может, я сегодня вправе  
Вспомнить день тех отдалённых лет.  
Как в стихах твоих крепчали звуки,  
Новые роились голоса...  
Не ленились молодые руки,  
Грозные ты возводил леса.  
Всё, чего касался ты, казалось  
Не таким, как было до тех пор,  
То, что разрушал ты, – разрушалось,  
В каждом слове бился приговор.  
Одинок и часто недоволен,  
С нетерпением торопил судьбу,  
Знал, что скоро выйдешь весел, волен  
На свою великую борьбу.  
И уже отзывный гул прилива  
Слышался, когда ты нам читал,  
Дождь косил свои глаза гневливо,  
С городом ты в буйный спор вступал.

И ещё не слышанное имя  
Молнией влетело в душный зал,  
Чтобы ныне, всей страной хранимо,  
Зазвучать, как боевой сигнал.

Что касается Асеева, то Валерий Брюсов, бесспорный поэтический авторитет, ставил его выше Маяковского. А извечный художественный оппонент Николая Николаевича Илья Сельвинский утверждал:

– Сила Асеева в том, что это прежде всего – личность. Можно не помнить его стихов, не знать ни одной строчки, но когда говоришь «Асеев» – перед тобой возникает силуэт, у которого нет двойника.

Да и сам Маяковский признавал:

– Есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя.

...Печататься Николай Асеев начал рано, но регулярно только с девятнадцати лет (1908 г.). Дебютировал как символист, и это свело его с Вячеславом Ивановым и Валерием Брюсовым. Шапочное знакомство быстро переросло в дружбу. Одно время поэты даже жили вместе (Лубянский проезд, 3/6).

Через год после начала Первой мировой войны Асеева призвали в армию. Судьба занесла его во Владивосток, откуда он вернулся в Москву только в 1933 году. Время, отведённое ему судьбой на жизнь и творчество, было сложным, но антисоветчиной Николай Николаевич никогда не пробаивался. Современный поэт Максим Замшев писал по этому поводу: «Все мы помним, как иные из отечественных литераторов умело совмещали лидерство по гонорарам и поездкам за границу за казённый счет с бесконечным хулением тех, кто им эти блага обеспечивал. Асеев был из другого теста».



*Н. Асеев*

По мнению многих критиков, Асеев владел словом едва ли не лучше всех советских поэтов, был бесспорным поэтическим виртуозом. Самая популярная его поэма «Синие гусары» была посвящена декабристам:

Белыми копытами  
лёд колотя,

тени по Литейному  
дальше летят.  
– Я тебе отвечу,  
друг дорогой,  
Гибель не страшная  
в петле тугой!  
Позорней и гибельней  
в рабстве таком  
голову выбелив,  
стать стариком.

Страшным ударом стала для поэта гибель В. В. Маяковского. Человек с необычайно высоким порогом совестливости, он винил в этом и себя, как участника окружения Владимира Владимировича, не сумевшего сберечь его. На смерть друга Асеев откликнулся поэмой «Маяковский начинается», за которую был удостоен Государственной премии СССР.

Николай Николаевич прожил семьдесят четыре года (по 1963-й). Буквально накануне своей кончины он написал стихотворение «Пять сестёр», в котором говорится о счастье, данном ему одной из них:

Я каждый день, проснувшись, долго думаю  
при утреннем рассыпчатом огне,  
как должен я любить тебя, звезду мою,  
упавшую в объятия ко мне!

На долю Асеева выпала поэтическая траектория редкого размаха – от позднего символизма до оттепели 1960-х годов, и он ни разу не оступился на ней.

**Камерный театр.** Молодой режиссёр А. Я. Таиров искал помещение для театра. Была труппа, были идеи и планы, но не было здания, в котором можно воплотить в жизнь желаемое. Театр мыслился небольшим, мест на четыреста. Как-то прохаживаясь по бульвару с группой артистов, Александр Яковлевич воскликнул, указывая на один из домов:

– Вот здесь можно было бы сделать прекрасный театр!

– Эта мысль, – говорила позднее А. Г. Коонен, – показалась мне просто гениальной. С этого дня наши прогулки по Тверскому бульвару участились. Гуляя, мы с увлечением обсуждали, какой из особняков больше подходит для театра. Однажды Таиров обратил наше внимание на красивый дом, окна которого были ярко освещены. Сверкающие хрустальные люстры создавали впечатление, что за окнами тянется большой нарядный зал. Мы остановились и как зачарованные смотрели в окна.

– Завтра же пойду разговаривать с владельцем дома, – решительно заявил Таиров.

Сходил. Приняли Александра Яковлевича вежливо, но так же вежливо и отказали.

– К сожалению, ваша идея, молодой человек, не из удачных, – заявил владелец красивого особняка.

В другом владении Таирова не пустили дальше передней, а на его предложение прозвучало:

– А вы, батенька, в своём уме?

Коонен предложила перенести поиски на нечётную сторону бульвара, надеясь этим обмануть судьбу:

– Моё внимание ещё раньше привлекал один особняк с красивой резной дверью чёрного дерева. Дом казался пустым и таинственным. По вечерам в окнах не было света. Таиров,

оглядев этот дом, согласился со мной, что в нём что-то есть и, подойдя к двери, решительно позвонил. Всей компанией мы пошли на бульвар и стали ждать. Александр Яковлевич долго не возвращался, но из облюбованного дома вышел с сияющими глазами. Все сели на скамейку, и он начал рассказывать:

– Четыре зала, идущие анфиладой, не годятся для того, чтобы сделать театр. Ломать их грешно. Но есть возможность пристроить к ним небольшой зрительный зал и сцену. Само здание создано для театра. И подумать только, что в этом доме размещаются воинское присутствие и бухгалтерские курсы!

Сейчас это дом № 23. В начале XIX столетия он представлял собой ампирный особняк и принадлежал братьям Паршиным. Они взяли на себя обязательство перестроить здание под театр, а театр должен был выплачивать им по 36 тысяч рублей в год. По поводу этих выплат Коонен говорила:

– Никому из нас даже в голову не пришло, из каких доходов сможет маленький театр выплачивать эту сумму. Главное, мы уже видели в своём воображении театр! Мечта становилась реальностью.

Открытие театра, названного Камерным, состоялось в пятницу 12 (25) декабря 1914 года. На премьере присутствовали М. Н. Ермолова, Е. В. Гельцер, А. В. Нежданова, А. В. Собинов, почти все ведущие актёры Малого и Художественного театров. Пьеса «Сакунтала», имевшая полуторатысячную историю, по выражению Скрябина, передавала дыхание Индии и имела чрезвычайный успех. С этой пьесы в Москве началась жизнь театра, избравшего независимый путь от корифеев МХТ.

Но отметить успех должным образом труппа не смогла (не было средств). Поэтому после спектакля просто собрались в фойе за чашкой чая, делились впечатлениями, мечтами о будущем. И, как сказала Коонен, засиделись:

– Когда забрезжил рассвет, мы вышли на улицу и долго бродили по бульвару в ожидании первого выпуска газет. Наконец открылся киоск. Мы сразу же увидели «Русские ведомости» и заголовок «Московский Камерный театр. „Сакунтала“». Статья была более чем благожелательна. Этого мы не ожидали. Другие статьи, последовавшие за этой, также были очень благоклонны. Даже те рецензенты, которые не хвалили нас, яду по нашему адресу не расточали.

Коонен была звездой Камерного театра. Здесь не место описывать её сценическую карьеру, но пару штришков отметить хочется. Двадцать девять лет (!) Алиса Григорьевна с неизменным успехом играла роль французской актрисы Адриенны Лекуврёр (в одноимённой пьесе). Зрителей Коонен завораживала пластикой, глазами и голосом.

– Как великолепны её глаза в приливах гнева, страсти, либо веселья, – восторгался один из почитателей актрисы. – Они были чёрными, коричневыми, тёмно-синими. В один момент они показались даже голубыми. Они вроде бы меняли собственный цвет в зависимости от роли.

Успешный и любимый публикой театр был закрыт 29 мая 1949 года, в период кампании по борьбе с космополитизмом. Подводя итоги его короткого существования, Илья Эренбург говорил: «Это был прекрасный театр, который родился под несчастливой звездой».

Александр Яковлевич Таиров не вынес умиротворения своего детища, бывшего смыслом его жизни. Алисе Георгиевне повезло больше. Обладая голосом, исключительным по красоте и тембру («Голос раскалённый, как магма», – говорил один из её современников), она выступала с сольными концертами, по-прежнему завораживая публику. А однажды...

– Я неожиданно начала записываться на радио. К микрофону привёл меня мой неизменный друг – случай. Как-то, когда я шла по Тверскому бульвару, ко мне подошёл очень приятного вида незнакомый мужчина, низко поклонился и представился – Аджемов. Имя Константина Христофоровича Аджемова, великолепного музыканта, было мне хорошо знакомо. Сказав несколько горячих слов о моих ролях в спектаклях Камерного театра и о моих творческих вечерах, он неожиданно обратился ко мне с вопросом, нет ли у меня желания поработать

на радио, сделать ряд записей из моего репертуара Камерного театра либо приготовить что-то новое.

В своё время спектакли Камерного театра записывались, но он так скоропалительно был закрыт, что эти записи исчезли. Конечно, Коонен захотелось хоть что-то вернуть к жизни, хоть частично восстановить живую историю театра, и она с надеждой внимала голосу неожиданного друга:

– Шагая по дорожке бульвара, мы с Аджемовым скоро разговорились как добрые старые знакомые. Константин Христофорович настойчиво уговаривал меня «подружиться с микрофоном» и вынести своё искусство на широкую аудиторию радиослушателей. Для начала он предложил мне принять участие в его ближайшей передаче о жизни и творчестве Шарля Гуно.

Первое выступление на радио оказалось весьма успешным и стало отправной точкой работы Коонен в эфире. Но главным для Алисы Георгиевны была возможность увековечить на плёнке фрагменты спектаклей Камерного театра, единственной любви в её жизни и жизни её супруга. «Если можно считать мою работу удачей, – говорила она, – то это только частично относится ко мне, это победа Таировского театра, нашей театральной культуры и неустанной борьбы Таирова за внедрение трагедии в современный репертуар».

**Осенью 1917** Тверской бульвар стал центром общественной и политической жизни города. Современник событий вековой давности свидетельствует:

«За несколько месяцев Россия выговорила всё, о чём молчала столетиями. С февраля до осени по всей стране днём и ночью шёл сплошной беспорядочный митинг. Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щёки, кому-то жали руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через минуту, его триумфально несли на руках, и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жёстких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам. Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный приём. Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела:

– Какой дивизии? Какой части?

Солдат сердито прищурился.

– Чего орёте! – закричал он. – Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдётся в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина – шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный приём. Толпа замолчала.

– Ты вшей покорми в окопах, – закричал солдат, – тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало что нас буржуям продаёте, как курей, так ещё ощипать нас хотите до последнего пёрышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу одна измена!

...Людские сборища шумели на городских площадках. Клятвы, призывы, обличения, ораторский пыл – всё это внезапно тонуло в неистовых криках

„долой!“ или в восторженном хриплом „ура!“. Эти крики перекатывались, как булыжный гром, по всем перекрёсткам».

**Человек в искусстве.** Весной 1920 года Сергей Есенин увлекся девятнадцатилетней Наденькой Вольпин, курносенькой миленькой девушкой. Она работала в Белостокском военном госпитале, который находился в Камергерском переулке, а жила на Остоженке. Провожая Надю с работы до дома, поэт часто ходил бульварами. Вольпин зафиксировала три прогулки с тем, кто через четыре года стал отцом её ребёнка.

«Тёплой майской ночью мы идём вдоль Тверского бульвара от памятника Пушкину. Я рассказываю:

– Встретила сегодня земляка. Он меня на смех поднял: живёшь-де в Москве, а ни разу Ленина не видела. Я здесь вторую неделю, а сумел увидеть. Что же, Ленин им – экспонат музейный?

Есенин резко остановился, взгляделся мне в лицо. И веско сказал:

– Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!  
Вместо ответа я прочла:

... вам я  
душу вытащу,  
растопчу —  
чтоб большая! —  
и окровавленную дам, как знамя.

– Так, что ли? Из Маяковского? Не узнали?

Я нарочно поддразниваю спутника этим именем.

– Узнал, конечно. Из „Облака...“ – и, возвращаясь к сути разговора, повторил:

– Ленина нет! Другое дело Троцкий. Троцкий пронесит себя сквозь историю как личность!

– „Распластал себя в революции“ и „пронесит себя как личность!“ – что же, по-вашему, выше? Неужели второе?

И слышу ответ:

– И всё-таки первое для поэта – быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет.

(Вот как! Политика, революция, сама жизнь – отступи перед законами поэзии)».

\* \* \*

Есенин был частым посетителем Кафе поэтов (бывшем «Домино»), которое находилось почти напротив сегодняшнего Центрального телеграфа, чуть ближе к центру. Выступал там – и, конечно, его критиковали. Особенно преуспел в этом юный Ипполит Соколов, который утверждал, что у поэта нет ничего своего. Все его богородицы, тёлки и младенцы заимствованы, мол, у немца Рейнера Марии Рильке. Из зала кричали:

– Брось, Ипполит, Есенин не знает немецкого языка!

Но «критик» гнул своё и однажды договорился до слова «плагиат». Не успел он закончить фразу, как Есенин взлетел на эстраду и залепил Ипполиту пощёчину. В кафе шум, смятение.

Из кафе выходим втроём: Есенин с Грузиновым провожают меня Тверским бульваром домой. Сергей разволнован. Он явно недоволен собой. Но, словно готовясь уже сейчас к пред-

стоящему суду, оправдывает свой поступок. Это недовольство собой ещё углубилось, когда он услышал от меня, что Ипполит «только выглядит солидным дядей, а на самом деле ему от силы восемнадцать лет». И тут Грузинов, добрая душа, одёрнул меня и тихо отругал:

– Где ваша женская чуткость? Не видите, что ли? Он и так расстроен.

А Сергей храбрился и всё доказывал – скорее себе, чем нам двоим, – что поступил по справедливости.

– Не оставлять же безнаказанной наглость завравшегося буквоеда! Нет, не стану я перед ним публично извиняться...

И вдруг сам себя перебивает:

– А этот его Рейнер Мария, видно, и впрямь большой поэт!

\* \* \*

У Есенина было трепетное отношение к А. С. Пушкину, и он любил посидеть у его памятника. Делал это, и провожая Надежду Вольпин:

«Хозяин стоит чугунный, в крылатке, шляпа за спиной. Стоит ещё лицом к Страстному монастырю. А мы, его гости, сидим рядком на скамье. Втроём: я в середине, слева Есенин, справа Мариенгоф. Перед лицом хозяина Анатолий отбросил свою напускную надменность. Лето, губительное жаркое, лето двадцатого года в разгаре.

– Ну как, теперь вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?

Отвечаю:

– Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей... Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!

– Как это?

– Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтора-два столетия, наши корни – в XIX веке. А его вскормила Русь – и древняя, и новая. Мы с вами – россияне, он – русский.

Сергей слушал молча, потом встал.

– Ну а ты, Толя? Ты-то её раскусил? – и, простившись с другом и с хозяином, зашагал вниз по Тверскому бульвару, провожая меня».

**Тоже издаю кое-что.** Начинаящий писатель Н. К. Вержбицкий в марте 1921 года шёл по бульвару. Ярко светило солнце. В воздухе уже дохнуло весной. После холодной и голодной зимы впервые появилось ощущение радости бытия.

Как всегда, Николай Константинович был занят своими мыслями. Но вдруг внимание его привлёк молодой человек, небрежно развалившийся на скамейке. У его ног суежилась стайка воробьёв. От неожиданности Вержбицкий вздрогнул: воробьи растаскивали от ног сидящего крошки хлеба. Довольно большой кусок оставался у молодого человека в руках.

От изумления писатель остановился: кормить воробьёв хлебом, когда его не хватает людям! Не выдержал и обратился к расточителю такого богатства:

– Простите за нескромность, но не находите ли вы, что это слишком роскошное угощение для таких бездельников, как воробьи?

– Ничего! – отмахнулся молодой человек, – Мне кое-что присылают из деревни. Вот, клюйте и вы, пожалуйста!

С этими словами он вынул из кармана другой кусок хлеба и протянул Вержбицкому. Для того времени это в буквальном смысле был чуть ли не королевский жест. Щедрое и непри-

нуждѐнное хлебосольство незнакомца растрогало Николая Константиновича, и он присел на скамейку.

Разговорились. По ходу беседы Вержбицкий понял, что случай столкнул его с Сергеем Есениным. Николай Константинович представился, сказал, что работает в Центропечати. Поэт обрадовался, узнав, что перед ним литератор, и попросил познакомить его с Б. Ф. Малкиным, руководителем Центросоюза.

– Я тоже издаю кое-что, – скромно заявил он, – и хотелось бы воспользоваться помощью вашего директора.

Так на бульваре завязалась связь, переросшая впоследствии в довольно близкие отношения этих людей.

**Квартира.** В. В. Иванов был ровесником Сергея Есенина, но как по-разному сложились их судьбы! Всеволод Вячеславович участвовал в Гражданской войне в Сибири. Уже в самом начале 20-х годов стал автором повестей «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», в которых изобразил борьбу сибирских партизан с Колчаком. И это не осталось незамеченным советской властью:

– Пьесу «Бронепоезд»<sup>20</sup>, – рассказывал писатель, – я написал в своей собственной трёхкомнатной квартире в полуподвале дома на Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил её очень дорогими моющимися обоями, потратив на это все деньги. Спал на полу, а рукописи писал на фанерке, которую держал на коленях.

В этой «творческой» обстановке и застал как-то Всеволода Вячеславовича Есенин, приведя хозяина квартиры в немалое смущение.

– Когда узнал, что ты переехал на собственную квартиру, – заявил Сергей Александрович, – я испугался. Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты спишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель. Поэт должен жить необыкновенно. Боже, как хорошо!

Есенин лежал на спине и читал стихи.

Был 1922 год. Вскоре Сергей Александрович уехал за границу, а когда вернулся на родину, поселился у Г. А. Бениславской в Брюсовом переулке, 2/14, и что примечательно, хозяйка спала на полу, а Есенин – на кровати, и это не смущало поборника необыкновенности.

Собственного жилья в Москве поэт не имел, но это не значит, что он не хотел этого. Друзья хлопотали за него перед Троцким и перед Луначарским, в Моссовете и в Союзе писателей. Всё было тщетно. Почему? В. Ф. Ходасевич, современник поэта, свидетельствует:

– Так «крыть» большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян.

Какие уж тут квартиры! Разве что за железной решёткой с часовым у дверей? Но советская власть разобралась с последним поэтом деревни несколько по-другому...

**Шутка.** Из заграницы Сергей Есенин привёз десяток неподъёмных чемоданов всяческого добра, среди которого были цилиндр и чёрная накидка на белой шёлковой подкладке. Однажды в этом опереточном наряде он разгуливал с начинающим писателем В. П. Катаевым по ночной Москве, пугая редких прохожих. На углу Тверского бульвара и Никитских ворот друзья заметили дряхлого извозчика, уныло ожидавшего клиентов.

Извозчик дремал на козлах. Есенин осторожно подошёл к дрожкам, вскочил на их переднее колесо и, заглянув в лицо старика, пощекотал ему бороду. Извозчик очнулся, увидел

---

<sup>20</sup> В. Иванов инсценировал свою повесть.

барина в цилиндре и решил спросонья, что спятил. А пассажир из прошлой жизни (при царе-батюшке) предложил:

– Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь?

– Ты что? Не замай! – испугался извозчик. – Не хватай вожжи! Ишь фулиган! – закричал он в испуге и пригрозил позвать милицию. Но тут произошло чудо: Есенин вдруг улыбнулся прямо в лицо хозяина дрожек такой добротой, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под чёрной трубой шёлкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом. После этого они трижды поцеловались, как на Пасху. И мы ещё долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом.

...Этот рассказ о Королевиче, как называет Валентин Петрович великого поэта, озорника и буяна, он закончил многозначительной фразой:

– Это были золотые денёчки нашей лёгкой дружбы. Тогда он ещё был похож на вербного херувима.

**Предчувствие.** В 20-е годы XX столетия в Кривоколенном переулке Москвы располагалась редакция первого толстого советского журнала «Красная новь», вокруг которого крутились все поэты и писатели того времени. С напором, присущим почти всем провинциалам, «атаковал» журнал и одессит В. П. Катаев. За короткий промежуток времени он познакомился в редакции со всеми знаменитостями. Да что познакомился! Со многими подружился, а с некоторыми сошёлся на «ты».

Об одном из таких сближений Валентин Петрович писал позднее: «Однажды по дороге в редакцию я познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широко известным поэтом – буду называть его с маленькой буквы королевичем, – который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу:

Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет.  
Говорят, что я скоро стану  
Знаменитый русский поэт».

По-видимому, многие из читателей сразу вспоминают автора этих строк – гениального русского лирика С. А. Есенина. Но классик (или почти таковой) был не слишком высокого мнения о своих читателях, поэтому дал весьма обстоятельную расшифровку личности Королевича<sup>21</sup>: «Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену Большого театра в красной тунике, с развёрнутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец „Интернационал“».

Из дальнейшего описания истории покорения Королевичем Босоножки все сомнения рассеиваются, и читатель понимает, что речь идёт именно о Есенине и его заморской супруге Айседоре Дункан. Это, конечно, сразу и многократно увеличивает интерес к случайному знакомству, происшедшему как бы на наших глазах.

– Во мне всё вздрогнуло: это он! Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся. Это был он. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта, самородка, образ которого давно уже сложился в моём воображении, когда я читал его стихи: молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых берёзок

---

<sup>21</sup> Из уважения к личности Сергея Есенина я не могу писать с маленькой буквы псевдоним, данный Катаевым ему (как и другим знаменитостям советской литературы).

легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой, заповедный скит, сочинитель «Радуницы». Или бесшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или даже Ванька-ключник, злой разлучник, с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел: молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм – пиджак в талию, – брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щёчками и по-девичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чёртиков, нечто настороженное: он как бы пытался понять, кто я ему буду – враг или друг. И как ему со мной держаться.

К счастью, они понравились друг другу. Знакомство это произошло в августе 1923 года. А вскоре состоялась новая встреча (на Тверской), которая оказалась более обстоятельной и весьма продолжительной. Катаев был с другом, которого называл Птицелов. Конечно, любитель пернатых был представлен знаменитости. Птицелов и Есенин быстро сошлись на любви ко всему живому. Сергей доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя не прочитал ещё ни одной его строчки.

Разговаривая, подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, окружающие его. Фигура поэта со склонённой курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря нежно-сиреневого цвета.

Желая поднять авторитет нового знакомого в глазах Есенина, Катаев сказал:

– Птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему.

Есенин с интересом посмотрел на Птицелова и предложил ему написать сонет на тему «Пушкин». На обложке журнала «Современник», взятого у Катаева, его приятель в один момент настроил «Сонет Пушкину». Есенин недовольно нахмурился и заявил, что и он может сделать то же самое. Долго думал, от напряжения слегка порозовел, наконец выдал:

Пил я водку, пил я виски,  
Только жаль, без вас, Быстрицкий.  
Нам не нужно адов, раев,  
Только б Валя жил Катаев.  
Потому нам близок Саша,  
Что судьба его как наша.

– Сонет? – с сомнением спросил Птицелов.

– Сонет! – запальчиво ответил Есенин.

Его новые друзья предложили перенести спор в более удобное место, чем цепи, окружавшие пьедестал памятника. Не спеша перешли Страстную площадь и пошли вниз по бульварам. Остановились на пересечении Мясницкой с Чистыми прудами и крепко засели в трактире, который находился тогда примерно на месте сегодняшней станции метро «Чистые пруды» (до 5 ноября 1990 года – станция «Кировская»). Чем больше пили, тем ближе становились друг другу. Спустя половину века Катаев писал: «Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стеснясь спросил Королевича, какого чёрта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить».

Бурный роман Есенина и Дункан на фоне пуританства первых лет революции воспринимался как скандал. В очень молодом мире московской богемы на заморскую диву смотрели как на порядком поношенную старую львицу. Есенин знал это, и вопрос нового друга не смутил его, не вывел из равновесия.

– Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест! – Сергей перекрестился на трактирную икону и продолжил: – Хошь верь, хошь не верь: я её любил. И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!

Есенин положил свою кудрявую голову на мокрую клеёнку стола и заплакал, бормоча: «И какую-то женщину сорока с лишним лет называл своей милой...»



*Айседора Дункан*

Поэт был пьян, на этом бы и остановиться. Но нет, ему вдруг захотелось домой, в деревню.

– Братцы! Родные! Соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на всё и махнём в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы

четыре. Ну? Давайте! Я вас познакомлю с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей всё обещаю да обещаюсь приехать, да всё никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен...

– Он был так взволнован, – вспоминал Катаев, – так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своём родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с Птицеловом заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета.

До отхода поезда было два часа. Время коротали в очередной пивной, колоритное описание которой оставил Катаев:

– Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными ёлками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навывпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдец-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками таранки цвета красного дерева, мочёным сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржанных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй, старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусок сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зелёное бутылочное стекло.

Но ограниченность денег не давала возможности развернуться. Тогда Птицелов, проявив благородство, сдал свой билет в кассу. Вскоре его примеру последовал Катаев. Сдал свой билет и Есенин – не ехать же в Константиново одному?

Разом забыв старушку-мать в ветхом шушуне, Сергей читал свою поэму «Анна Снегина»:

Когда-то у той вон калитки  
Мне было шестнадцать лет,  
И девушка в белой накидке  
Сказала мне ласково: «Нет!»  
Далекие, милые были.  
Тот образ во мне не угас...  
Мы все в эти годы любили,  
Но мало любили нас.

При этих словах Есенин всхлипнул, по щекам его текли горячие слёзы. Расчувствовались и его застольные друзья. По щекам Катаева тоже потекли ручейки. Птицелов опустил на стол свою лохматую голову и издавал носом горестное мычание.

...Через пятьдесят лет Валентин Петрович, умудрённый горьким опытом жизни, писал: «Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я вижу станцию метро „Кировская“ и памятник Грибоедову, я предчувствовал ужасный конец Есенина. Почему? Не знаю!»

**Растить человека.** Сергей Есенин был человеком контрастов и неожиданностей. В 1925 году поэт вдруг решил перемениться, зажить по-иному. Планы на ближайшее будущее он связывал с женитьбой. Вот что услышал от него в один из первых летних вечеров коллега по поэтическому цеху Рюрик Ивнев, сидя на скамейке Тверского бульвара:

– Ты должен дать мне один совет, очень... очень важный для меня.

– Ты же никогда ничьих советов не слушаешь и не исполняешь!

– А твой послушаю. Понимаешь, всё это так важно. А ты сможешь мне правильно ответить. Тебе я доверяю.

Я прекрасно понимал, что если Есенин на этот раз не шутит, то, во всяком случае, это полушутка... Есенин чувствовал, что я не принимаю всерьёз его таинственность, но ему страшно хотелось, чтобы я отнёсся серьёзно к его просьбе – дать ему совет.

– Ну хорошо, говори, – сказал я, – обещаю дать тебе совет.

– Видишь ли, – начал издали Есенин. – В жизни каждого человека бывает момент, когда он решается на... как бы это сказать, ну, на один шаг, имеющий самое большое значение в жизни. И вот сейчас у меня... такой момент. Ты знаешь, что с Айседорой я разошёлся. Знаю, что в душе осуждаешь меня, считаешь, что во всём я виноват, а не она.

– Я ничего не считаю и никогда не вмешиваюсь в семейные дела друзей.

– Ну хорошо, хорошо, не буду. Не в этом главное.

– А в чём?

– В том, что я решил жениться. И вот ты должен дать мне совет на ком.

– Это похоже на анекдот.

– Нет, нет, Ты подожди. Я же не досказал. Я же не дурачок, чтобы просить тебя найти мне невесту. Невест я уже нашёл.

– Сразу несколько?

– Нет, двух. И вот из этих двух ты должен выбрать одну.

– Милый мой, это опять-таки похоже на анекдот.

– Совсем не похоже... – рассердился или сделал вид, что сердится, Есенин. – Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина?

– Я тебя не понимаю.

– Сейчас поймёшь. Я познакомился с внучкой Льва Толстого и с племянницей Шаляпина. Обе, мне кажется, согласятся, если я сделаю предложение, и я хочу от тебя услышать совет: на которой из них мне остановить выбор?

– А тебе разве всё равно, на какой? – спросил я с деланным удивлением, понимая, что это шутка. Но Есенину так хотелось, чтобы я сделал хотя бы вид, что верю в серьёзность вопроса. Не знаю, разгадал ли мои мысли Есенин, но он продолжал разговор, стараясь быть вполне серьёзным.

– Дело не в том, всё равно или не всё равно... Главное в том, что я хочу знать, какое имя звучит более громко.

– В таком случае я должен тебе сказать вполне откровенно, что оба имени звучат громко. Есенин засмеялся:

– Не могу же я жениться на двух именах!

– Не можешь.

– Тогда как же мне быть?

– Не жениться совсем.

– Нет, я должен жениться.

– Тогда сам выбирай.

– А ты не хочешь?

– Не не хочу, а не могу. Я сказал своё мнение: оба имени звучат громко.

Есенин с досадой махнул рукой. А через несколько секунд он расхохотался и сказал:

– Тебя никак не проведешь! – и после паузы добавил: – Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой.

Биографы по-разному оценивали этот шаг поэта: польстился на фамилию гения, надоело бродяжничать по чужим углам, попытался отойти от мнимых «друзей» и зажечь по-новому... Лишь немногие видят в этом поступке искреннее проявление чувств. Писатель Н. Н. Никитин свидетельствует: «Встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не

„проходным“ явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелёгкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:

– Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил...

– Но что другое?..

Он махнул рукой, промолчал».

Толстая была для поэта как последняя соломинка для тонущего. Его свояк Василий Наседкин, вспоминая поездку в Константиново 7 июня, писал: «До этого я, как и все знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового, но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжёлые и явно нездоровые формы.

Через два дня, возвращаясь вдвоём на станцию, я осторожно сказал ему:

– Сергей, ты вёл себя ужасно.

Слегка раздражаясь, Есенин стал оправдываться.

Но чуть ли не в этот же день, вспоминая деревню, Есенин оправдывался уже по-другому. Он жаловался на боль от крестьянской косности, невежества и жадности. Деревня ему противна, вот почему он так...

– Это не оправдание. Тебя все ценят и любят как лучшего поэта. Но в жизни этого мало. Пора растить в себе человека.

Есенин был почти трезв, заговорил торопливо:

– Ты прав, прав... Это хорошо – „растить человека“. Разве вот жениться на С. Толстой и зажить спокойно».

**Где эта улица, где этот дом?** Писатель Н. С. Тихонов был ровесником Сергея Есенина, но пережил его более чем на половину столетия. На закате своих дней ему было что вспомнить:

– Однажды весенним утром шёл я с Есениным по московским улицам. Мы опаздывали и должны были торопиться. После бессонной ночи, когда было о многом переговорено, у нас в распоряжении были только обычные утренние слова. Вдруг Есенин остановился. Улыбка осветила его лицо. Он взял меня под руку и сказал весело: «Свернём в сторону. Я тебе покажу кое-что забавное».

Николай Семёнович удивился: в какую ещё сторону? Ведь опаздываем!

– Ничего, это недалеко, – настаивал поэт, и Тихонов согласился.

Они прошли одну улицу, другую, прошли пару переулков, и всё это в сторону от первоначальной цели.

– Ничего, – успокаивал Есенин приятеля, – зато ты увидишь очень забавное.

В конце концов, миновав два квартала, Есенин подвёл Николая к витрине с фотографиями, среди которых был и его портрет.

– Разве это не забавно? – спросил Сергей Александрович и засмеялся своим лёгким смехом.

Портрет был хорош. Прохожие останавливались и любовались им, с восхищением в голосе говорили: «Есенин!».

– Ты прав, – согласился Тихонов. – Пусть мы опоздали и пусть это дело подождёт или провалится, но это действительно забавно. Ты очень похож, и, чтобы посмотреть на Есенина, можно пройти побольше, чем несколько улиц.

Апофеозом поэта звучит сегодня последняя строфа писателя, умудрённого долгим жизненным опытом: «В эту минуту я увидел всего Есенина. Его наполняла гордость, какой-то лёгкий и свободный восторг; светлые кудри его развевались, его глаза странника, проходящего по весенней земле с песней и любовью ко всему живущему, лукаво усмехались».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.